

ФРАНЦУЗСКИЕ ПОСЕТИТЕЛИ ТОЛСТОГО

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Т. БЕНЗОН, ЖОРЖА АНРИ БУРДОНА, АНРИ ЛАПОЗА
ЖЮЛЯ ЛЕГРА, МОРИСА ДЕНИ РОША И РЕНЕ МАРШАНА

Публикация и перевод Л. Р. Ланского

Редко кто из образованных иностранцев, приезжавших в Россию в конце XIX и начале XX в., не мечтал побывать в Ясной Поляне, чтобы увидеть собственными глазами человека, ставшего живой легендой. Многим удавалось осуществить эту мечту. Толстой с поразительным радушием принимал у себя зарубежных гостей, званных и незванных, откровенно беседовал с ними, отвечал на их вопросы. Газеты и журналы всех стран мира охотно помещали на своих страницах отчеты посетителей яснополянского дома. Нередко день или вечер, проведенный в гостях у писателя, давал его собеседнику материал для целой книги. Некоторые периодические издания направляли своих сотрудников в Россию с единственной целью — взять у Толстого интервью, которые поспешно перепечатывались затем на многих языках.

Среди иностранных посетителей Ясной Поляны заметное место занимали французы — писатели, журналисты, ученые, педагоги, политические деятели*. Многие из них — сразу же по возвращении на родину или впоследствии¹ — выступили в печати со своими воспоминаниями о встречах и беседах с Толстым.

Публикуемые ниже мемуары французских посетителей Толстого извлечены из различных парижских изданий 1890—1920-х годов. На русском языке они не издавались и в большинстве своем остались у нас неизвестными даже авторам специальных исследований, посвященных жизни и творчеству Толстого. Написанные талантливыми, наблюдательными людьми, опытными мастерами пера, глубоко проникнутыми сознанием всемирно-исторического значения великого русского писателя, мемуары эти воссоздают в различных ракурсах, а временами с художественной рельефностью многие грани могучей личности Толстого. Но наибольшую ценность и интерес представляют зафиксированные мемуаристами многообразные высказывания Толстого: отдельные автобиографические эпизоды, суждения о русских и зарубежных писателях, художниках и политических деятелях, о литературном труде, искусстве, народном образовании, современной политике и пр.

Ввиду значительного объема мемуаров они печатаются нами не полностью. В них опускаются подробности, либо не имеющие прямого отношения к Толстому, либо повторяющиеся уже хорошо известные факты и высказывания писателя.

Отдельные детали чисто бытового характера мы сочли все же целесообразным сохранить, чтобы не нарушить последовательности изложения и общего колорита мемуаров.

* Т. Линдстром, автор книги «Tolstoï en France» («Толстой во Франции». Paris, 1952), насчитывает *семнадцать* французов, «посетивших Толстого в апогее его популярности»; однако число это можно без труда значительно умножить.

ЖЮЛЬ ЛЕГРА

В 1895 г. в парижском издательстве Armand Colin et C^o вышла книга молодого французского слависта и германиста Жюль Легра (1866—1939), озаглавленная «Au Pays Russe» («На русской земле»). В этом сочинении, выдержавшем четыре издания и премированном Французской академией, описывались впечатления автора от трех поездок по России в 1892—1894 гг. Хотя Легра предупреждал читателей в предисловии, что в его работе не встретится ни одной политической оценки («три или четыре французца, основательно знающих Россию,— писал он,— легко поймут причины моего воздержания»), описание безотрадной жизни русского народа, в особенности крестьянства, не могло оставить читателей равнодушными и откровенно свидетельствовало о тупике, в котором находилось русское самодержавие, и о неизбежной близости революционных перемен. Книга Легра и сейчас еще подкупает безусловной правдивостью, искренностью тона и симпатией к России и русским. Известный французский филолог-славист П. Паскаль писал впоследствии о Легра: «Он весь, целиком, в этой книге — это не кабинетный писатель, не экономист, не историк, не политик и тем более не поверхностный или пустой путешественник, а живой человек, отзывавшийся на каждое новое явление природы и человеческой деятельности. Он проводит дни на полях с мелкопоместными дворянами, охотится с мужиками, пьет чай у попов; он посещает Толстого и Чехова; он отправляется с интеллигентами туда, где свирепствуют голод и тиф; он спорит с московскими дамами и бредет с богомольцами к Троицкой лавре. Кажется, ни одна подробность не ускользает от него в этой огромной и многообразной стране. Но никогда его взгляды не становятся расплывчатыми; этот исключительно уравновешенный буржюанец во время своего чудесного путешествия судит, сравнивает, одобряет или критикует и всегда остается самим собой. И, однако, ни тени холодности: он не скрывает своей симпатии; Россия и русские завоевали скорей его сердце, чем разум»¹.

Легра побывал в Москве и в Подмосковье, в Нижнем-Новгороде, Туле, Орле, Варшаве, Одессе, Киеве и Петербурге. Всюду он старался вступать в тесные контакты с населением. Не испугали его даже эпидемии тифа и холеры — он отправился в охваченный голодом Лукояновский уезд Нижегородской губернии, где принял, вместе с В. Г. Короленко, активное участие в помощи голодающим.

Готовясь к педагогическому поприщу, Легра с особым интересом изучал постановку народного образования в России. Он познакомился с известным педагогом, последовательницей Толстого, А. А. Штвен, которая много рассказывала ему о «яснопольном патриархе» и его педагогической деятельности. Легра настойчиво добивался встречи с Толстым, и ему удалось несколько раз повидаться с ним в Москве и в Ясной Поляне. Детально описывая в «Au Pays Russe» свои поездки по России, встречи с выдающимися и с ничем не примечательными людьми, Легра почему-то не привел никаких подробностей о своих свиданиях с Толстым, отметив только, что явился к писателю проникнутый чувством восхищения к его литературным творениям и в то же время с тайным недовольством его учением. Мало-помалу, однако, пишет Легра, он стал лучше понимать «великого мистика» и, наконец, пришел к выводу, что главным отличительным свойством характера Толстого является *доброта* — «доброта простодушная, временами смягчающая жесткую сталь его глаз под кустистыми бровями; доброта привлекательная, успокаивающая, делающая и вас самих на минуту добрее (<...> Доброта эта, подчеркиваю, кажется мне природным даром. В ней нет ничего отвлеченного, она преисполнена жизни; вместо того чтобы вступать в конфликт с жизнью, как это часто бывает у христианствующих благотворителей, она просто сливается с нею; доброта эта не исключает вспыльчивости и потому не заглушает темперамента. Это-то и отличает Толстого от большинства толстовцев, которых кое-где встречаешь в России,— бледных, с натруженными руками, преисполненных ненависти ко всем, кто им не подражает. Эти люди следуют учению, которое не ими создано и остается для них, в сущности, чуждым; согласуя свое поведение с этим учением, они теряют тот живой и естественный характер, который свойствен их великому образцу: почти все они люди нетерпимые, суровые, доктринеры. У Толстого же, наоборот, мысль еще подвижна и деятельна; она познает, чувствует, судит, преисполнена жизни.



Fig. 1. — La maison de Tolstoï à Yasnaya.

CHEZ TOLSTOÏ

A MOSCOU



C'est par une froide matinée de février 1895, l'après-midi par l'express de Saint-Petersbourg, et, le temps de déposer ma valise à l'hôtel, je remontais dans le train et me faisais conduire chez le comte Léon Tolstoï.

L'hôtel où j'étais descendu se trouve au centre de la vieille capitale, en face du Kremlin aux églises dorées, aux dômes baroques, aux fresques étalées de ses églises et palais, aussi nombreux que pittoresquement divers. À côté de cette Moscou historique, ou plutôt confondue avec elle, s'élèvent des constructions modernes, cadrant de style avec les anciennes; le tout d'un effet à la fois imposant et gracieux, d'une originalité ordonnée.

Mon traineau s'écroulait, et, peu à peu, l'animation silencieuse — l'épouse couche de neige, amortissant tout bruit — laissait entièrement régner le calme désert. Autant que je pouvais voir autour, gèle que j'étais par le roi rétro de ma pelisse, ce ne fut plus l'ancienne ni la nouvelle Russie que j'apercevais: quelque ville fantasmagorique, gelée, baignée par un froid de brede-ouy degrés, comme recouverte du linceul immaculé de la mort. Pour rendre entièrement l'impression que j'éprouvais, il faudrait le piano de Tolstoï, du peintre incomparable de cette symphonie en blanc. On m'excusera la hardiesse de le doubler

metaphoriquement, car réellement on comprend, on sent ce grand froid et l'on voit la neige jusqu'à en être aveuglé seulement en lisant la *Théorie de neige* ou *Maître et Serviteur*.

«Il nous amène glorieux jusqu'à cet état, moribond de terreur. Combien? Une demi-heure, une, deux heures? Je ne sais.» Il y demeure lâche, à bas, du côté de Devichy-Pole, quartier excentrique de ce vaste village qu'est Moscou. Même habitant la capitale, le grand amoureux de la nature cherche à s'en rappro-

ДОМ ТОЛСТОГО В ХАМОВНИКАХ

Страница журнала «Revue Illustrée» (1898, № 23) со статьей И. Д. Гальперина-Каминского «У Толстого». — В Москве. Внизу портрет Толстого работы И. Е. Репина, 1891

Личная библиотека Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна»

Толстой энергично защищает себя от обвинения в том, что он будто бы желает играть роль апостола. «Если я пишу, — сказал он мне, — то отнюдь не для того, чтобы проповедовать милосердие, непротивление злу, ручной труд, вегетарианский режим, — а только чтобы сказать своим братьям: „Смотрите! все это пошло мне на благо: если и вас влечет к этому душа, — попытайтесь в свой черед поступать именно так“. Благодаря подобному взгляду на свою роль, Толстой старается не тиранить тех, кто к нему приближается. Ученики же его отличаются свирепой нетерпимостью и стремятся ко всеобщему оуплению. Ему же, наоборот, все проявления ума кажутся интересными, он изучает и взвешивает их. Речь Толстого — одна из самых гибких и разнообразных, какие мне доводилось слышать, любознательность его необычайна. Сблизиться с ним вовсе не так трудно, как принято думать, — напротив, он весьма радушен. К этим чертам, которые я наскоро отмечаю, прибавлю еще одну, крайне важную: искренность. Лев Толстой — человек с искренней душой: более всего на свете он ненавидит ложь. Конечно, часто он обнаруживает ложь там, где ее вовсе нет, и предается беспощадному возмущению; но любовь к правде, потребность изливать душу до дна остается по-прежнему основным двигателем его жизни»².

В Яснополянской библиотеке Толстого сохранился экземпляр книги Легра «Au Pays Russe» со следующей дарственной надписью автора на шмуцтитуле: «A Lev

Nikolaevitch Tolstoi, hommage d'une affection profonde. Jules L e g r a s» («Льву Николаевичу Толстому, в знак глубокой любви. Жюль Легра»).

Через тридцать с лишним лет после появления в печати первого издания «Au Pays Russe» автор этой книги, уже маститый профессор, опубликовал в толстовском номере парижского журнала «Monde Slave» (1928, № 8, р. 294—307) свои воспоминания, озаглавленные «Quelques Visites chez Tolstoi» («Несколько посещений Толстого»). На этот раз он подробно рассказал о встречах с писателем и привел обширные выдержки из своего дневника. Письма Легра, сохранившиеся в архиве Толстого, дают возможность внести не лишние интереса подробности в историю их отношений.

Мечтая, как и все интеллигенты-иностранцы, попадавшие в Россию, добиться встречи с Толстым, Легра перед возвращением во Францию, 1/13 декабря 1893 г. написал Толстому по-французски следующее письмо:

«Милостивый государь! Своим письмом к вам я свожу на нет чуть ли не настоящий заговор. Как только стало известно о вашем возвращении в Москву, мои московские друзья предложили сделать все возможное, чтобы ввести меня в ваш дом. Первым делом, Н. И. Стороженко хотел попросить у вас разрешения явиться к вам вместе со мной. Однако болезнь и смерть Н. С. Тихонравова приостановили выполнение этого проекта. А. П. Чехов собирался представить меня кому-то из ваших друзей в один из своих приездов в Москву. Словом, осада была задумана по всем правилам военного искусства. Выждав некоторое время, я сам решился написать вам напрямик и с полной откровенностью. Вероятно я не осмелился бы сделать это год тому назад, когда мне были еще неизвестны ваша „Азбука“ и ваши „Книги для чтения“.

Я француз, бывший воспитанник Эколь Нормаль Сюперьёр (того же выпуска, что и Ж. Дюма, автор книги „Толстой и философия любви“), и я выбрал себе специальностью преподавание живых языков, а также их литературу. Теперь я нахожусь в отпуске — пока не освободится кафедра иностранной литературы на одном из наших факультетов.

Я воспользовался этим отпуском для изучения русского языка и всего русского. В прошлом году я бок о бок с В. Г. Короленко и одним из своих московских друзей работал в Лукояновском уезде во время голода и тифа. Вы понимаете, как близко узнал я при этом ваших крестьян: ведь всего лучше постигаешь людей в минуты подобного испытания. Таким-то образом я невольно заинтересовался вопросами которые касаются русских крестьян, и в частности вопросом о начальных школах. Не сочтете ли вы возможным, милостивый государь, отвлечься на несколько минут от ваших занятий и сказать мне по этому поводу несколько слов?

Французское общество знает только внешнюю сторону России. Полагаю, что наш долг — открыть публике глаза на истинный характер вашей родины — и не описанием великосветской жизни или деятельности ваших западников, а ознакомлением с жизнью деревни.

Я написал о России несколько писем по просьбе „Journal des Débats“³. Они, вместе с моей маленькой и весьма незрелой книжкой о Берлине⁴, составляют пока мой единственный литературный багаж.

Я назвал вас имена лиц, у которых бываю в Москве. Вы можете при случае вести у них справки обо мне. Если вы согласитесь принять меня и соблагovolите назначить мне время встречи, то исполните самые заветные мои желания.

С глубочайшим уважением

Жюль Легра

Р. S. Я пишу вам по-французски. Прошу вас, не делайте из этого вывода, что я имею обыкновение говорить в России на своем родном языке. Наоборот, я всегда разговариваю в Москве по-русски — к великому удивлению некоторых светских людей, привыкших к тому, что пребывание моих соотечественников в русском обществе не оставляет на них ни малейшего следа».

На конверте сохранилась помета Толстого: «Ответить» (AT).

Т. Л. Толстая исполнила это поручение отца и, по-видимому, пригласила Легра (см. т. 66, стр. 475). Вероятно письмо ее не дошло до адресата: Легра указывает в своих мемуарах, что, не получив ответа от Толстого, он решился на свой страх и риск отдать ему визит.

НЕСКОЛЬКО ПОСЕЩЕНИЙ ТОЛСТОГО

...Итак, 20 декабря 1893 года под вечер, набравшись смелости, я отправился пешком в Хамовнический переулок, где жил Толстой. Московские дома, как известно, редко бывали снабжены номерами. К счастью, мне удалось прочесть под стеклом фонаря: «Дом графа Л. Н. Толстого...» Значит, здесь. Я долго ищу звонок, наконец раздается приглушенный медный звук, звук надтреснутого колокольчика. Развязный лакей открывает мне дверь и выхватывает из моей руки визитную карточку. По-видимому, у хозяев гости.

Меня вводят в столовую<...> После пятнадцати минут ожидания, которыми я пользуюсь, чтобы отдышаться, прийти в себя, успокоить нервы, дверь приоткрывается — и легким, скользящим шагом входит он... Толстой мне кажется высоким, крепким, стройным, ему не дашь и пятидесяти лет, хотя на самом деле ему уже шестьдесят пять. Он еще необычайно бодр. Голова у него гораздо меньше, чем мне представлялось по фотографиям. Он приветствует меня на превосходном французском языке, звучащем естественно, ненапыщенно, благородно и без тени педантизма. Лицо его обрамлено длинной седой бородой. Особенно поразили и врезались мне в память его глаза, маленькие, некрасивые, неласковые, но чрезвычайно пронизательные. Они словно притаились в засаде — на дне двух глубоких впадин, края которых защищены как бы лесом седых бровей — таких густых, каких мне еще не приходилось встречать. Никогда не видел я столь глубоко посаженных, столь пронзительных, столь инквизиторских глаз: они положительно производят впечатление буравчиков, просверливающих вам мозг. Нос толст, широк, приплюснут. Рта не видно. На левой щеке лиловые пятна *. Лоб сравнительно невелик. Сильно поседевшие, длинные волосы зачесаны за очень большие уши <...> Наибольшее впечатление на этом лице производит непроницаемый, щупающий, сверлящий взгляд. Временами, когда Толстой улыбается, из-под огромных, кустящихся бровей неожиданно вырываются теплые, мягкие вспышки света.

Предлогом для моего посещения был вопрос о русской школе. Ею заинтересовали меня труды Рачинского, Горбова, Штевен ⁵.

— Русские школы,— говорит мне Толстой,— находятся в бедственном положении. Их губит правительственная политика и вмешательство духовенства. Эти два начала задерживают всякий прогресс. Потому что *правили́м классам почти везде выгодно держать низшие классы в невежестве*: здесь властвует то «оглупление», о котором говорит Паскаль. Лет двадцать тому назад я пытался ввести в обучение кое-какие новшества; но когда бываешь не во всем согласен со взглядами правительства, то оно просто-напросто принуждает вас закрыть вашу школу. По моему убеждению, прежде всего следовало бы обучать беглому чтению и письму, затем — математике: нельзя ограничиваться одними четырьмя правилами; наши крестьяне способны идти гораздо дальше: в этом им надо помочь. И, наконец, изучение современных языков.

Я с восхищением упомянул о педагогической деятельности г-жи А. А. Штевен, с которой познакомился в Нижегородской губернии, куда приехал к моему другу Гучкову, и разговор перешел на В. Г. Короленко, незадолго до того издавшего книгу о «Голодном годе» в этих местах ⁶. Толстой спрашивает, знаком ли я с Короленко; я отвечаю утвердительно ⁷ и упоминаю о сведениях,— не помню, каких именно,— полученных мною от писателя.

* Это, я полагаю, шрам от раны, которую ему нанес медведь.

— Вы это узнали от него? Ах, журналисты, журналисты! * Я часто сержусь на них. Совсем недавно они напечатали в «Revue des Revues» мою статью **, которую буквально искалечили в своем переводе с русского. Это меня огорчило, так как я обещал ее Жюлю Симону в «Revue de Famille». Я протестовал. Мой парижский поверенный в делах — я хочу сказать — человек, кому поручены мои дела в Париже, — отнес в несколько газет заметку, в которой я выступил с протестом; но напечатать ее никто не согласился под предлогом, что говорить дурное о своем товарище по перу — недопустимо. Наконец, нашлась одна газета — «Echo de Paris», — напечатавшая протест. Так вот, «Revue des Revues» осведомляется у меня: «Чем же плох перевод?» Он плох... а чем — объяснить трудно: я подчеркнул, или, вернее, один из моих друзей подчеркнул все перевранные места ⁸.

Я рассказал, как у нас чаще всего фабрикуются переводы с русского: какой-нибудь русский с грехом пополам передает смысл, а француз, не знающий русского языка, выправляет, подчищает эту тяжеловесную прозу. Мои слова вызывают у Толстого смех: я остерегся сообщить ему, что один из его переводчиков грешит одновременно и против русского, и против французского языков ⁹.

От переводов мы переходим к современной литературе, и Толстой спрашивает у меня, кого из русских писателей считаю я самыми выдающимися. Я называю Короленко, Чехова...

— Да, вы правы, — говорит он, — это наиболее значительные имена. Я добавил бы Успенского и одну женщину ***, роман которой года три подряд печатался на страницах «Вестника Европы» ¹⁰.

— Вы говорили мне, — замечает Толстой, — что знакомы с Жоржем Дюма?

— Мы вместе учились в лицее и подружились в Эколь Нормаль Сюперьёр. Читали ли вы книгу, которую он вам посвятил? ¹¹

— Конечно, и нахожу ее превосходной: он много читал, много искал и многое нашел; все это прекрасно изложено, прекрасно подано — так, как умеете это делать вы, французы ¹².

...По какому-то поводу я упоминаю о новой повести Чехова «Беглец», незадолго до того появившейся в «Revue des Deux Mondes» ¹³.

— Да, — говорит Толстой, — она очаровательна, восхитительна. А знаете ли вы, — продолжает он, — что в этом журнале переменялся редактор и теперь им руководит Брюнетьер?.. Брюнетьер — человек очень талантливый, к тому же обладающий нравственными убеждениями — не религиозными, а именно нравственными, и на них-то основываются его суждения.

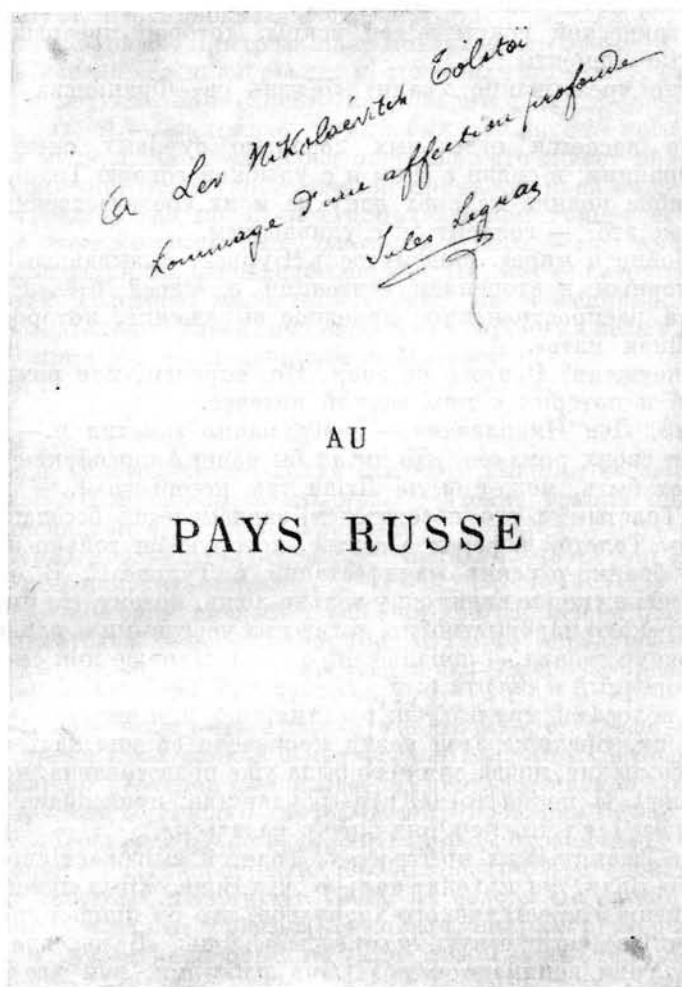
Я рассказываю ему о деятельности Брюнетьера в Эколь Нормаль, о его умении увлекать учащихся, и Толстой просит меня объяснить, что собой представляет Эколь Нормаль. Затем, после упоминания о Вогюэ беседа переходит на вопрос о романе, и Толстой восклицает:

— Роман? Это отживший род литературы, это обветшавшая форма. Чем будет он заменен? спрашиваете вы меня. Не знаю, но мое утверждение — факт, подтверждаемый историей. Посмотрите на англичан: во главе их стоял Диккенс, затем Теккерей, Тrollop, а теперь совершенно никого не осталось.

* Речь шла о каком-то деле, в котором оказались замешаны американские журналисты.

** Какую? Не знаю.

*** Не могу вспомнить ни ее имени, ни названия романа.



ЦАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ЖЮЛЯ ЛЕГРА НА КНИГЕ «НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ»

(Jules Legras. Au Pays Russe. Paris, 1895):

«Льву Николаевичу Толстому в знак глубокой любви. Жюль Легра»

Личная библиотека Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна»

Вскоре я стал откланиваться. Толстой сказал мне:

— Приходите еще, если вам захочется; после восьми я почти все вечера бываю дома: вы сможете посидеть подольше.

Он пожимает мне руку и, держась очень прямо, скользящим шагом подымается к себе, в то время как грубый лакей выпроваживает меня на улицу, в ночь.

Проходит неделя, и милый, славный Николай Ильич Стороженко приводит меня к Толстому. На этот раз мое посещение имеет совсем иной характер: всякое стеснение исчезло, вдобавок я здесь уже не главное действующее лицо, и это придает мне больше уверенности. Толстой принимает нас в низкой комнатке, расположенной в верхней части дома; он сидит за столом и работает, набросив на плечи широкую шубу. Когда нас ввели, он при свете *свечки* читал Амиеля. Толстой восторженно хвалит «Дневник» и читает нам отрывки из него.

— Это был почти великий писатель, — добавляет он, — ему не хватало лишь электрической искры — той искры, которая превращает в воду разрозненные элементы ¹⁴.

Он также чрезвычайно хвалит «Жизнь св. Франциска Ассизского» Сабатье ¹⁵.

Разговор касается отдельных довольно суровых оценок, данных Амиелем Франции; в связи с этим я с улыбкой говорю Толстому, что он сам по ошибке поднял на смех одну из моих соотечественниц.

— Где же это? — говорит он с удивлением.

— В «Войне и мире». Мадемуазель Бурьен, вызывавшая смех у читателей упорным повторением сентенции о «своей *бедной* матери» ¹⁶, употребляла распространенное народное выражение, которое означает: «Моя покойная мать».

— Ах, неужели? Я этого не знал. Но, впрочем, мои романы — дело прошлое. И я потерял к ним всякий интерес.

— Полно, Лев Николаевич, — необдуманно заметил я. — Если б вы не написали своих романов, кто читал бы ваши философские сочинения?

— Может быть, может быть! Люди так несерьезны!..

Между Толстым и его посетителем завязывается беседа: я слушаю и наблюдаю. Толстой говорит о статье, которую он только что написал по поводу франко-русских манифестаций в Тулоне ¹⁷. В основе этих манифестаций он упорно видит одну только ложь, потому что именно таким путем подстрекают народы к войне, делают их черствыми и равнодушными.

— Я присутствовал, — продолжает он, — в Париже при смертной казни. Приговоренный к смерти был здоровенный черномазый парень, очень сильный, с волосатой грудью. Он растлил трех или четырех мальчиков и затем убил их. Зрелище этой казни произвело во мне настоящий переворот. Без сомнения, почва для него была уже подготовлена, но результат был мгновенен. Я понял тогда, что государство, правосудие и тому подобное — совсем не то, чем они хотят казаться ¹⁸.

Говоря о французских крестьянах, Толстой выражает свое восхищение «Землей» Золя. Он находит только, что Золя скрыл лучшие стороны сельской жизни и крестьянского характера, что он придал своим героям преувеличенную эротическую *чувствительность*: «В деревне, — говорит он, — когда люди занимаются полевыми работами, они не думают так много об этих пустяках...»

Во время чая, который мы пьем вместе со всей семьей, Толстой говорит мне, что он находит, будто во Франции изменились некоторые тенденции. Он поражен, видя, что многие молодые французы покидают теперь пределы своей родины, изучают Германию, Европу, «и проникают даже к нам, в наш варварский край», — добавляет он с улыбкой. Он полагает, что влияние Германии на Россию уменьшилось. Я позволяю себе высказать противоположное мнение и утверждать, что Германия все более и более *импонирует* России.

* * *

...Впечатление умирительное, благодатное, успокаивающее, утешительное произвел этот бодрый старец-мыслитель. От него исходил доброта — не приторная, а совершенно естественная, откровенная, свободная.

Через год, снова приехав в Россию, Легра решил воспользоваться приглашением Толстого (см. т. 67, стр. 224) и навестил его в Ясной Поляне 1/13 октября 1894 г. Он не застал Толстого дома. Софья Андреевна сообщила гостю, что муж ее отправился верхом к своему брату. Он должен был вскоре возвратиться, и графиня предложила Легра подождать. Они долго беседовали на разные темы.

— Вы уже обедали? — раздался вдруг мужской голос в передней, и дверь отворилась. Это приехал Толстой.

Он вошел в столовую, прихрамывая. Возвращаясь от брата, он совсем позабыл, что лошадь его низкоросла, и, проезжая по мосту, сильно ударился ногой о перила. «Мне стоило невероятного труда удержаться от крика, — говорит он, — настолько сильна была боль. Эта нога и раньше очень мучила меня и вызывала даже опасение, что может начаться гангрена... Именно она, вероятно, и явится причиной моей смерти...»

И на этот раз я был поражен его появлением: голова его кажется маленькой на этом крупном теле, одетом в черное, — маленькой и продолговатой, благодаря большой седой бороде. Да, именно это чрезвычайно характерно для Толстого: маленькая голова, не особенно большие, но страшно пронизательные глаза, под зарослями огромных седых кустистых бровей. Цвет лица у него лучше, чем в Москве.

* * *

После обеда Толстой читает вслух статью о Японии из «Нового времени» — статью, совершенно ничтожную¹⁹; чтение вскоре прерывается спором о религиозном чувстве во Франции.

— Всякий раз, когда француз говорит о религии, — замечает Толстой, — он понимает под ней католицизм.

Я объясняю ему свой личный взгляд на этот вопрос и отмечаю, что католицизм имеет два значительных преимущества перед православием; первое из них — умение проникать в жизнь верующего; второе — неприимчивость.

— Это правда, — говорит Толстой, — католицизм везде одинаков, тогда как во время моих споров с православными, Аксаков отрицал, что он придерживается взглядов Соловьева, а Соловьев говорил то же о Леонтьеве или Хомякове. Однако католицизм по временам бывает забавен. Я был знаком в Провансе с одной светской дамой, которая переписывалась с папой римским²⁰. Папа разрешил ей есть скоромное в постные дни; впрочем, утка «постна», потому что живет на воде... Послушайте, я не в состоянии понять, как это серьезные писатели, например, Бурже в своем «Cosmopolis», могут заканчивать книгу апофеозом папы. Кто он для нас, этот папа?..

Я упомянул о Соловецком монастыре, где провел несколько дней нынешним летом, на что Толстой, рассказывавший мне о разных религиозных сектах, заметил:

— Мне когда-то хотелось съездить в Соловки, так как в царствование Петра Великого в этот монастырь был заточен мой пращур; он умер там, а сын его, сопровождавший отца в монастырь, был отозван назад²¹. Я хотел написать роман из времен Петра Великого... Видели ли вы там арестантов? — добавил он после паузы. — Некий Пушкин находился там в заточении пятнадцать лет: он основал новую религию; у него остался в Женеве ученик, доктор Корф, который регулярно посылает мне свои сочинения, странные, интересные, безумные²².

Софья Андреевна читает самым младшим детям «Швейцарского Робинзона»²³, Татьяна Львовна протирает овсянку, и в этой уютной домашней обстановке, при свете лампы, продолжается мирный и довольно бессвязный разговор. Толстой сообщает мне подробности о своем брате²⁴, который стал уже «настоящим старцем». Он очень здраво и остроумно судит обо всем, а в более молодые годы был преслабшим рассказчиком <...>

Расспрашивая меня о французских литературных новинках, Толстой заговорил о Золя.

— Я особенно восхищаюсь,— сказал он,— «Жерминалем» и отчасти «Землей»; однако последние произведения Золя свидетельствуют об упадке. Этому есть объяснение. Поэт, как сказал Пушкин, находится в центре мира, чтобы передать его гармонию²⁵ («звучное эхо» Виктора Гюго²⁶). Что же касается Золя, то он залезает *под фортепиано* для изучения его механизма вместо того, чтобы слушать аккорды. Он помешан на научном романе и этим добровольно связывает себе руки. Золя видит одновременно лишь одну категорию людей, не замечая всех остальных. Его романы — это монографии, а не картины живой жизни, и потому они наводят на нас скуку. Посмотрите, какая разница: Бурже чрезвычайно умен, но он не обладает и тенью таланта. Золя, напротив, глуп, зато очень талантлив. В том, что он глуп,— нет ни малейшего сомнения. Остальные? После «Женских писем» я не читаю больше Марселя Прево²⁷. Я его ставлю в один ряд с Жаном Экаром²⁸: напаялив на себя личины моралистов, они с удовольствием предаются живописанию порока. Что же касается Эдуарда Рода, то его «Молчание» ниже всех остальных произведений, тогда как «Мишель Тесье» был очень хорош, а местами глубоко²⁹.

Говоря о литературных гонимых, Толстой возмущается тем, что английский переводчик «Христианства и патриотизма»³⁰ получил восемьдесят фунтов стерлингов, т. е. две тысячи франков. Со своей стороны, говорит мне Толстой, он получил за «Анну Каренину» что-то около двенадцати тысяч рублей (тридцать две тысячи франков). Мало-помалу разговор переходит на сюжет, который его больше всего интересует, и он говорит мне:

— Когда я пишу книги, я вовсе не ставлю своей целью изрекать пророчества, поучать других, что-то уничтожать. Мне нет никакого дела до приложения моих взглядов. Вот вам пример. Христос сказал то-то и то-то: это заключает в себе истинную нравственность; я рассказываю другим, как много я лично извлекаю из этого добра: я не требую от них решения; но если они питают ко мне доверие, они сделают попытку, подобную моей, и тогда обрушится нагромождение лжи, которую поддерживало всеобщее ослепление. Патриотизм — бессмысленная вещь; в свое время и я был патриотом, но с той поры как я вышел из детского возраста и перестал мочиться в постели, я уничтожил в себе это чувство... Я стар, и мне недолго осталось жить: я просто говорю то, что рассматриваю как результат накопившейся во мне мудрости, результат, который может уместиться на ладони. Моя идея непротивления злу ни в коей мере не является проповедью: я только заявляю, что лично я хочу воздерживаться от всего противоречащего этому принципу.

И глаза его блестят из-под насупленных бровей... Он кончает беседу словами:

— Я работаю в продолжение четырех месяцев над десятью страницами, которые мне не даются, которые я пишу и переписываю³¹. Я скажу, как де Местр: «Государь, извините, что письмо мое столь длинно: писать кратко у меня не было времени»³².

3/15 октября 1894 г.

Вчера, когда шел разговор о разных русских поэтах, Толстой сказал мне о своем кузене Алексее Толстом:

— Это был благородный талант; у него стиль чрезвычайно чист, но при чтении всегда испытываешь ощущение, будто все это ты уже где-то читал.

Невозможно лучше охарактеризовать бесцветную личность этого поэта. Затем Толстой добавил:

— Если вы будете говорить о русских поэтах, ни в коем случае не забудьте Тютчева!

Когда зашел разговор о французской жизни, Толстой заметил, что ему хотелось бы получить сведения о своем первом учителе французского языка, уроженце Гренобля ³³.

— Это был прекрасный человек, — добавил он, — который в совершенстве владел латынью и очень хорошо умел ее преподавать.

Как сказал мне Толстой, он сам жил во Франции в 1860—1861 годах — в Париже, в Дижоне.

— В Дижоне? — переспрашиваю я с изумлением.

— Да, Тургенев никак не мог оправиться от простуды, и врач потребовал, чтобы он выехал куда-нибудь на юг *. Мы провели неделю в Дижоне, чистеньком городке с высокими домами, но ужасно малолюдном... Именно там я дописал своего... Не помню теперь, что именно я там дописал **.

Разговор о театре вызывает у нас в памяти имя Островского, и Толстой говорит мне:

— Его первые четыре или пять пьес были восхитительны, но затем, поддавшись лести своего кружка, он принялся писать пьесы, в которых не было ни начала ни конца. Однажды я сказал ему по поводу какой-то пьесы:

— Вы знаете, она слабовата.

— Ба! — ответил он, — разве и у Шекспира нет слабых пустячков! ³⁵

Толстой добавляет:

— Когда публика питает к тебе доверие, можно писать что вздумается. Так, например, если б я писал сплошные глупости, мне все равно рукоплескали бы.

Когда я сознаюсь ему, что не питаю пристрастия к театру, он замечает:

— Я тоже не люблю театра. Почти не помню случая, когда я пошел бы в театр только для того, чтобы получить удовольствие; обычно я отправлялся туда лишь для исполнения своих светских обязанностей, отдать визит в ложе и пр. Однако, как говорит Виньи, в зале три или четыре тысячи человек находятся в полном вашем распоряжении, и вы заставляете их слушать всё, что вам заблагорассудится ³⁶, и уж тут-то они не перескочат через страницу, которую считают скучной, как это делают в книге. Так вот, некоторые вещи мне хотелось высказать в драматической форме, а кое-что я бы не прочь сказать и сейчас.

* * *

После завтрака разговор почему-то возвращается к русскому Крайнему Северу. Толстой спрашивает меня, чем там питаются крестьяне, и его, кажется, весьма удивляет, что они едят преимущественно рыбу.

— Так, значит, — говорит он, — они не вегетарианцы?

— Конечно, ведь злаки у них не растут.

Один случай из моей поездки в Соловки позабавил его. Я приехал в русской, довольно неряшливой одежде, и монах, распределявший жилье, направил меня в общую гостиницу. Когда же он увидел меня переодетым, то стал рассыпаться в любезностях и предоставил мне одному прекрасную комнату.

— Это именно то, что произошло и со мной, — сказал Толстой, смеясь. — Лет пятнадцать тому назад я посетил со своим слугой ...

* от Парижа.

** «Альберта» ³⁴.

монастырь *, неподалеку отсюда. Я был в мужицкой одежде и в лаптях; мой слуга был одет по-городскому. Возле монастыря, как и в Соловках, находятся бесплатные гостиницы, куда пускают паломников. Мы направились к более чистому дому: в него впустили моего слугу. А мне было сказано: «Что ты здесь хочешь? ** Прочь отсюда!», — воскликнул брат, ведавший распределением мест, и пихнул меня в грудь. Меня поместили в дыре, кишевшей клопами. Вдруг один монах, бывший крестьянин из нашей округи, узнал меня.

— Как, — сказал он мне, — вы здесь, ваше сиятельство?

Тогда монахи вывели меня из моего помещения, накормили разными закусками, икрой, всевозможными лакомствами.

— Да, — добавил он, помолчав, — это нехорошо ³⁸.

АНРИ ЛАПОЗ

Журналист, экономист, а впоследствии видный искусствовед Анри Лапоз (1867—1925) весной 1896 г. был командирован в Россию французским министерством торговли для изучения законодательства о труде и его применения на практике. Побывав в Петербурге, Москве (на коронации Николая II) и в других городах, Лапоз не упустил возможности посетить Ясную Поляну, так как давно уже принадлежал к числу горячих поклонников Толстого. Еще в 1890 г. он напечатал в журнале «Revue Bleue» (номер от 3 мая) серьезную статью о педагогических воззрениях русского писателя под названием «Толстой-педагог». Свою поездку по России без встречи с Толстым Лапоз не считал бы достойно завершенной.

Радужно встреченный писателем, Лапоз провел в Ясной Поляне только один вечер (22 мая/3 июня 1896 г.), но вечер этот был насыщен увлекательной беседой с Толстым.

Возвратившись в Париж, Лапоз выпустил в том же 1896 г. книгу, озаглавленную «De Paris au Volga» («От Парижа до Волги»), которая вышла несколькими изданиями и была увенчана, как и книга Ж. Легра, особой премией Французской академии.

«От Парижа до Волги» — подробный отчет о поездке Лапоза по России. Центральное место в этом сочинении заняла глава «В Ясной Поляне. Вечер у графа Толстого». Другую главу Лапоз посвятил Толстому-педагогу, назвав ее «Граф Лев Толстой в школе». Он охарактеризовал в ней Толстого как «одного из величайших поэтов». «Его красноречие, — писал в этой статье Лапоз, — приближается к библейскому, и это придает ему особое очарование. И, что бы ни говорили, — это, прежде всего, мечта... Мечтатель он и в педагогике...»

В воспоминаниях Лапоза приводится множество интересных высказываний Толстого о литературе, в частности о декадентах. Они представляли бы значительно больший интерес, если бы Лапоз из «дипломатических» и, впрочем, легко объяснимых соображений не смягчил и не опустил некоторые из отзывов о живых еще тогда писателях. Из других высказываний Толстого обращает на себя внимание несколько неожиданная в его устах высокая оценка роли промышленности как фактора, оказывающего положительное воздействие на крестьянство.

В яснополянской библиотеке Толстого сохранился экземпляр книги «De Paris au Volga» со следующей дарственной надписью на шмуцтитуле: «Au comte Léon Tolstoï. Respectueux hommage de son admiration et souvenir d'une inoubliable soirée à Jasnaja Poliana. Henri L a p o z e» («Графу Льву Толстому. В знак почтительного восхищения и в память о незабываемом вечере в Ясной Поляне Анри Лапоз»).

* Не помню его названия ³⁷.

** Эти четыре слова приводятся в тексте по-русски. — Л. Л.

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ. ВЕЧЕР У ГРАФА ТОЛСТОГО

Фотографии и гравюры сделали популярными черты лица графа Льва Толстого, «господина графа», как говорят в Ясной Поляне. Появившийся перед нами человек — именно тот, кого мы знаем по изображениям: это Моисей, Моисей Микеланджело с длинной струящейся бородой. Глаза у него небольшие, но в них словно сосредоточилась вся его жизнь. Эти глаза красноречивей, чем сам Толстой. В них отражаются все его мысли, и в течение вечера мы неоднократно ищем в них разгадку задушевнейших чувств Толстого.

С тем же вниманием смотрим мы и на его мощные ноздри, которые яростно раздуваются, когда Толстой воодушевлен, и которые даже в спокойном состоянии *говорят* почти так же, как и его глаза.

Мы проходим шагов сто по парку в ожидании ужина.

— В прошлом году я болел инфлуэнцей, — говорит он нам, — и с той поры еще не совсем оправился. Все время чувствую себя неважно... Дантист, у которого лечится моя жена, запретил мне ездить на велосипеде; по его словам, этот спорт мне вреден. Я заявил жене, что он врет, как зубодер*, и это рассмешило ее. Тем не менее на велосипеде я больше не езжу.

Во время нашей прогулки по яснополянской деревне Льва Толстого не было дома: он находился в это время на строящемся заводе, который мы видели по пути в Ясную Поляну.

— Как жаль, — говорим мы, — что портят такой очаровательный пейзаж!

— Так полагает и графиня, но это нехорошо. Напротив, сожалеть здесь не о чем. На заводе будет работать несколько сот рабочих. Люди эти, объединенные в течение дня общим делом, проникнутся своим значением. Они получают совместное воспитание жизнью, и это пойдет им на пользу. Увидев вещественные результаты своего труда, они отдадут себе отчет в собственных силах. Должно ли это вызывать недовольство? Мужiku следует находиться в постоянном соприкосновении с более деятельной заводской жизнью, и чем многочисленней будут заводы, тем больше следует этому радоваться.

Девять часов. Нас приглашают к столу. Столовая находится на втором этаже. В Ясной Поляне живут налаженной семейной жизнью. У графа Льва Толстого восьмеро детей: три дочери, из которых самой младшей, по-видимому, лет десять, и пятеро сыновей. Не все они здесь, места отсутствующих заняты друзьями.

Толстой замечает на круглом столике французский журнал.

— Мне хотелось бы узнать от вас, — говорит он нам, — что это означает.

И он читает вслух:

«Il y a ceux dont la clameur jeta l'idée sur le déploiement des villes grises et bleuâtres, pardessus les dômes des académies, les colonnes de victoire, les jardins d'amour, les halles en fer du commerce, les astres électriques éclairant les essorts des express ou des remous nerveux des foules, jusque les océans de sillons fructueux, jusque les gestes du semeur et l'effort solitaire du labour, jusqu'aux lentes pensées du rustre fumant contre l'âtre, jusqu'à l'espoir du marin penché au bastingage pour suivre la palpitation lumineuse de la mer» **.

— Прошу вас, — говорит Толстой, — объясните мне эту фразу.

Я не имею перед глазами контекста и вынужден отказаться от объяснения. Никто не улавливает смысла этого отрывка, и мы тщетно прибегаем к логическому анализу: разъяснить эту тайну нам так и не удастся.

* Буквальный перевод французского выражения «mentir comme un agacheur des dents», означающего «бесстыдно лгать». — Л. Л.

** «Revue Blanche», 15.V 1896. «Энергии» г. Поля Адана ³⁹.

— Вот как пишут теперь ваши молодые литераторы! — продолжает Толстой. — Их не удовлетворяет уже ваш прекрасный, благородный и чистый язык? Им надо терзать и его и нас? Это тем более досадно, что автор прочитанных строк обладает несомненным талантом: обескураженный первой фразой, я вначале отказался дочитать книгу до конца, но, когда я снова взялся за нее, она произвела на меня весьма благоприятное впечатление. Тем не менее у меня нейдет из ума фраза, которую я не понимаю: «Il y a seux dont la clameur...»

Эта фраза г. Поля Адана явно преследует Толстого. Она раз двадцать срывается с его уст в продолжение вечера:

— Ну можно ли писать подобную тарабарщину: «Il y a seux...», когда так легко быть понятным на самом ясном в мире языке! «Il y a seux...» Нет, никто и никогда, слышите ли, никогда не заставит меня согласиться с тем, что фраза эта французская. Что собой представляет автор *этого*?..

Мы сообщаем подробности о г. Поле Адане, юном, трудолюбивом и умном писателе, похвалить которого нам чрезвычайно приятно.

— Да, да, — говорит Толстой, — припоминаю. Но все-таки это неотвязное: «Il y a seux...»

Кто-то передает Толстому русский журнал.

— Пожалуйста, — говорит он мне, — окажите любезность и прочтите вслух вот этот сонет. Мне хотелось бы узнать, что намерен был сказать этим автор?

Я читаю следующие стихи, напечатанные в тексте по-французски:

M'introduire dans ton histoire
C'est en héros effarouché
S'il a du talon nu touché
Quelque gazon du territoire

A des glaciers attentoires
Je ne sais le naïf péché
Que tu n'auras pas empêché
De rire très haut sa victoire

Dis si je ne suis pas joyeux
Tonnerre et rubis aux moyeux
De voir en l'air que ce feu troue

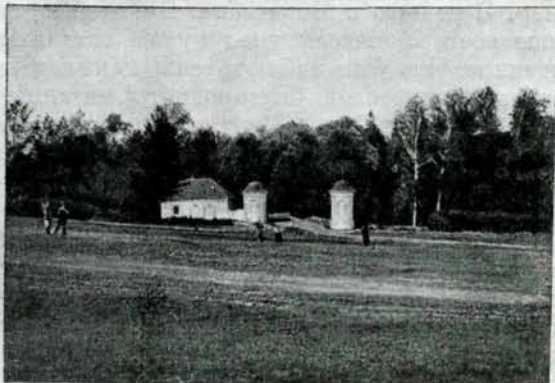
Avec des royaumes épars
Comme mourir pourpre la roue
Du seul vespéral de mes chars

— Это, — говорю я, — одно из самых знаменитых стихотворений г. Стефана Малларме.

— Ну что ж, — замечает Толстой, — я, со своей стороны, не вижу в нем ничего дурного. Но улавливаете ли вы, по крайней мере, смысл? Ничуть. И названия нет. Нет ни одной точки, ни одной запятой. Не поставлена даже заключительная точка. Это чудовищно. Ах! В наши дни французская литература может похвалиться тем, что накопила изрядное количество *туманностей*.

Я не собираюсь излагать здесь все, что говорил за столом Лев Толстой. Но так как он соблаговолил ответить на некоторые заданные ему мною вопросы, думаю, что нашим писателям небесполезно будет прочесть его ответы. Я сообщу, впрочем, только то, что высказано было мне одному. Стоит ли добавлять, что я осмелился несколько смягчить краски?

Мы уже видели, что Толстой довольно строго судил тех, кого он называет «декадентами». Слово это устарело во Франции. В России же оно



L'entrée de Yasnaya Polyana.

CHEZ TOLSTOI

A YASNAIA POLIANA

Le rapide de Moscou à Kiazsk s'arrête de fort bonne heure, à cinq heures et demie, à Yassenkî, dernière station après Toulâ, et à 200 verstes de Moscou. Pour gagner Yasnâia Poliana, l'ermiteage de Tolstoï, il reste à parcourir une douzaine de verstes en voiture.

Le cheval s'enfonce sur la route accidentée, serpentant à travers la steppe ondulée de basses collines. Autour, des prés verts, des champs de blé doré, des masses d'arbres : bouleaux, tilleuls, sapins, qui forment bientôt des bois touffus. On comprend Tolstoï, ne quittant qu'à regret et rarement, cette « lumineuse clairière » (en russe Yasnâia Poliana), y passant presque toute sa vie et y puisant l'amour de la nature, en même temps que l'aversion pour la vie barbare de la ville, de la société, de la fausse civilisation. « De quelle étonnante puissance sont les impressions directes de la nature ! », disait un jour Tolstoï à un de ses confrères russes. — « Et combien j'apprécie les artistes qui puisent leur inspiration exclusivement à cette source éternelle et impuisable ! Elle seule donne la force et révèle la vérité. »

C'est à Yasnâia Poliana que Tolstoï vit le jour (en 1828) ; c'est là qu'il vécut les jeunes années dont il parle avec tant de chaleur communicative dans *L'Enfance*, sa première œuvre qui le rangea d'emblée, à 33 ans, parmi les grands écrivains russes. « Heureux, heureux temps de l'enfance, qui ne reviennent plus ! Comment se pas-berge, comment ne pas rêver ses souvenirs ! Ils rafraîchissent, ils dicent mon âme et sont la source de mes plus pures, de mes plus douces joies ! » — s'écrie le jeune auteur. Et tous ceux qui l'ont lu ne sauraient plus oublier ce commencement de chapitre, cette strophe de poème en prose. C'est à Yasnâia Poliana qu'il se maria, qu'il vit naître ses nombreux enfants ; c'est là qu'il nous décrit le *Bondage de famille*, nous conte les touchantes amours de Lévine et Kitty dans *Anna Karénine*, narra la prodigieuse épopée de *Guerre et Paix* ; c'est là encore qu'il créa, sur des bases nouvelles, sa fameuse école populaire, qu'il s'essaya à *Vladimir le fermier modèle*, et qu'il surmonta la douleur, la redoutable crise morale qui faillit l'entraîner au suicide et qui, vaincue, s'alifia, fit de lui un missionnaire convaincu de la bonté et de la vérité chrétiennes. Ainsi, tout le temps consacré aux premières études à Moscou, puis à celles à l'Université de Kasan au service à l'armée : au Caucase, sur le Danube, à Sébastopol, et une route échappée à l'étranger, tout le reste, un demi-siècle de cette existence si remplie,

ВЪЕЗД В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ

Страница журнала «Revue Illustrée» (1901, № 11) со статьей И. Д. Гальперина-Каминского «У Толстого. — В Ясной Поляне»

Личная библиотека Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна»

продолжает оставаться новым, и для такого человека, как Толстой, оно имеет именно тот смысл, который лежит в его основе. Мне кажется, что он не более снисходителен и к скандинавской литературе. Мы говорили об иностранных писателях, которых читают или которыми восхищаются во Франции, и я заметил, что хотя русская литература продолжает оставаться у нас любимым чтением, Ибсен и некоторые другие писатели живо привлекают к себе наше внимание.

— Это нелестно для нас, — говорит Толстой.

Он произносит это с презрительным видом, как бы мысленно смерив Ибсена взглядом с ног до головы.

А любит ли Толстой, по крайней мере, наших писателей?

— Да... Я глубоко восхищаюсь вашим великим поэтом Виктором Гюго. С Александром Дюма-сыном я не был знаком, но я читал его и продолжаю читать с бесконечным удовольствием. Пробежать книгу Дюма — для меня наслаждение. И, — продолжает Толстой с неподдельным волнением, — когда Александр Дюма-сын умер, я испытал такое

чувство, словно потерял друга... У вас был другой крупный, очень крупный писатель: он умер. Я говорю о Мопассане. Видите ли, писатель этот был значительно выше всех. Мопассан умел лучше остальных видеть и воспроизводить виденное. Это был наблюдатель, каких у вас больше нет, а форма его отличалась чистотой благородного металла. Да, насколько он был выше всех, выше чем...

— Выше, чем Флобер?

— Конечно, выше.

— И чем Золя?

— О да, полагаю, что он был выше всех. Золя? Мне очень понравился «Жерминаль», в нем проявилось острое зрение Золя. Мне понятно даже, почему он написал «Землю». В сущности, крестьяне составляют три четверти человечества и поэтому достойны изучения. Но «Человек-зверь»? Но описание железных дорог? Писатель не имеет права добровольно ограничивать свой кругозор, сужать поле своих наблюдений, сводить все к мелочам. Нет, он не имеет права делать это, и если он так поступает, то создает произведение ничтожное. Впрочем, я не в состоянии был дочитать до конца остальные книги Золя. Я не пошел дальше сотой страницы «Лурда» и отказался от чтения «Рима». Мне кажется, что интерес к Золя уменьшился... Это писатель усердный и терпеливый, вот и всё.

И с той же строгостью, с какой он судил г. Эмиля Золя, граф Лев Толстой принимается судить всю французскую литературу за небольшими лишь исключениями. Он ценит Альфонса Додэ, «обладающего талантом»; он питает глубокое уважение к «Психологическим очеркам» и «Новым очеркам» г. Поля Бурже, а портреты Тэна и Дюма-сына особенно поразили его. «Бурже полон ума», — добавляет он. Толстой хочет этим сказать, что у Бурже голова полна всевозможных сведений. «На склоне лет» Поля Маргерита — одна из тех книг, которые ему особенно понравились в последние годы: «У него верные эпитеты». Он считает «Нелл Горн» и «Двусторонний» — особенно последний роман — прекрасными произведениями. «Как жаль», — говорит он, — что г. Рони слишком много копается в подробностях! ⁴⁰ К чему это? Все эти молодые люди, одаренные такими талантами, в сущности, сумасшедшие. Пусть бы они писали на вашем языке, — как следует на нем писать, — просто, ясно.

Г-н Жан Экар посылает ему свои книги ⁴¹. Толстой читает их. Он строго судит «Полудев» г. Марселя Прево: «О таких вещах не пишут ⁴². Это никому не нужно и нечистополютно. От этого молодого писателя можно бы ждать большего. Большого также, чем его „Женские письма“, — они ниже всякой критики. Его роман „Исповедь любовника“, который был рекомендован Александром Дюма ⁴³, — произведение почти первоклассное». Толстому нравятся также «Унтер-офицеры» г. Люсьена Декава. Он питает слабость к г. Эдуарду Роду, но «Смысл жизни» внушает ему опасения в отношении будущности этого писателя...

* * *

Вы понимаете, как мало обращал я внимания на то, что подавалось к столу. Мадемуазель Татьяна Толстая, сидевшая слева, заметила мне, что меня дожидается «труп» на тарелке. «Труп» этот оказался розовым и нежным ростбифом.

— Мы этого не едим, — заметил мне Толстой.

И, чтобы не смущать меня, он добавил по-русски:

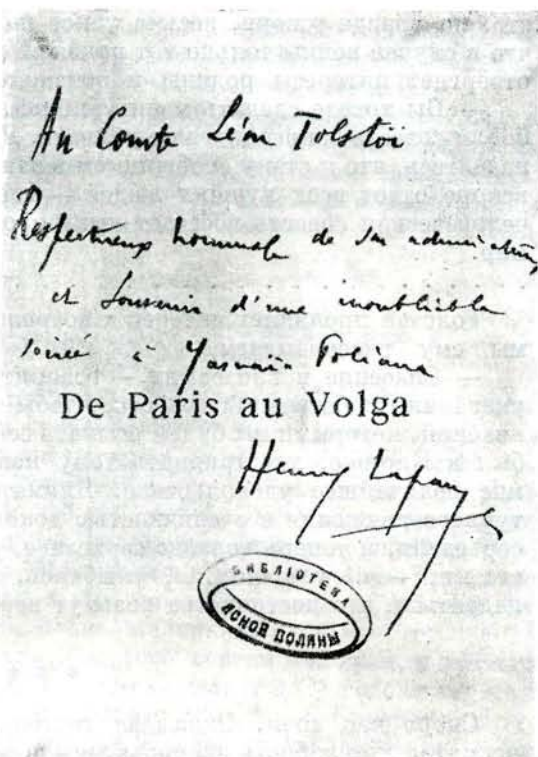
— Мы говорим «труп» из вежливости. Иначе мы сказали бы... Далее последовало название знаменитого стихотворения Бодлера в «Цветах зла» (стихотворение XXX) ⁴⁴. Толстой — вегетарианец. Он не пьет вина, и за столом вино подают только больным. Мы пьем квас. Толстой больше не

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ АНРИ
ЛАПОЗА НА КНИГЕ «ОТ ПАРИЖА
ДО ВОЛГИ»

(Henry Lapozé. De Paris au Volga.
Paris, 1896):

«Графу Льву Толстому. В знак почти-
тельного восхищения и в память о неза-
бываемом вечере в Ясной Поляне.
Анри Лапоз»

Личная библиотека Толстого.
Музей-усадьба «Ясная Поляна»



курит. Утра его целиком посвящены работе, дни — прогулкам, вечера же отданы продолжительным беседам при свете лампы.

Мадемуазель Мария раскладывает пасьянсы, а сестра ее музицирует. Графиня Толстая редко вмешивается в литературные беседы. Это, как мне говорили, чрезвычайно умная женщина, отлично управляющая всем домом. Для нас она была приветливой и доброй хозяйкой.

Мы заговариваем об анархии:

— Те, кто путает слова «анархия» и «терроризм», — говорит нам Толстой, — делают ошибку. Это совсем разные вещи. Элизе Реклю — анархист. Но он не террорист. Одно понятие не включает в себе другого. Но как же растолковать это? Так же и с патриотизмом, люди не хотят договориться о значении этого слова. Клемансо как-то ответил на мою статью, посвященную этому вопросу⁴⁵. Клемансо — передовой человек, и все же он выступил против меня — за то, что я считаю патриотизм чудовищным. Клемансо неправ: с кем же можно договориться, если не с такими людьми, как он?

— ...Да, — продолжает Толстой. — Бебель сказал совсем недавно во Фрибурге, что ни о всеобщем разоружении, ни о всеобщей стачке говорить нельзя, так как Франция только и дожидается этого, чтобы снова отобрать Эльзас и Лотарингию. Что я могу вам сказать, ведь это помешательство, чистейшее помешательство. Разве вы не видите, что выступаете против основного религиозного принципа? Христос сказал: «Не убий». Патриотизм же, напротив, говорит: «Убивать надо». Вы не христианин, если забываете заповеди единственного подлинного бога и сына его Иисуса Христа...

Толстой, как мы видим, сводит патриотизм к нижеследующему: один народ, соперничающий с другим народом, обрушивается на него, — но

это, по правде говоря, весьма узкое понятие патриотизма. Он полагает, что в случае войны только тот покажет себя истинным христианином, кто отвергнет интересы родины и откажется убивать.

— Вы хотите сделать меня убийцей, а я этого не хочу, потому что и бог, и совесть запрещают мне убивать. Делайте со мною, что хотите, но не надейтесь, что я стану сообщником в ваших планах убийства. Таков будет вскоре ответ всех лучших людей,— говорит нам Толстой,— потому что человеческая совесть восстает ныне против насилия, так долго давившего мир.

Толстой проявляет интерес к возрождающемуся идеализму, о котором мы ему рассказываем.

— Спасение в нас самих,— говорит он.— Достаточно нам следовать указаниям собственной совести, чтобы не бояться ни людей, ни самообвинений, которыми мы будем осыпать себя в противном случае. Я два раза был в Париже, лет тридцать тому назад, и пребывание там доставило мне величайшее удовольствие. Внимательное изучение вашего литературного движения с очевидностью доказывает, что молодежь у вас очень серьезная, и теперь гораздо серьезнее, чем прежде. У нее есть свои недостатки, — «il y a seux...», улыбаясь, прибавляет Толстой,— но можно надеяться, что достоинства возьмут верх.

* * *

Скоро час ночи. Оказывая гостеприимство своим гостям, Толстой, несмотря на слабость здоровья, все время оставался за столом, а мы эгоистически воспользовались его добротой. Однако нам надо возвращаться этой же ночью в Тулу — приходится расставаться с нашими любезными хозяевами...

МОРИС ДЕНИ РОШ

1 июня 1899 г. в Ясную Поляну приехал французский литератор и искусствовед, впоследствии почетный член Академии художеств, Морис Дени Рош (1868—1951), прибывший в Россию для усовершенствования своих знаний в русском языке, который он изучал в Парижской школе восточных языков под руководством П. Буайе. Человек богато одаренный и образованный, Рош пользовался заслуженной славой лучшего переводчика с русского на французский. Его переводы Гоголя, Лескова, и в особенности Чехова не утратили своего значения и до сих пор переиздаются.

Рекомендательные письма от Буайе доставили Рошу много интересных знакомств. Познакомился он и с сыном Толстого Ильей Львовичем. Зная о благоговейном отношении Роша к отцу, Илья Львович настойчиво приглашал его приехать в Ясную Поляну. И хотя сын Толстого уверял, что отец его любит принимать у себя гостей, Рош вначале не решался ехать, опасаясь, как он писал впоследствии, «увеличить собой число тех туристов и праздных публицистов, которые не могут закончить своего путешествия по России без того, чтобы не отправиться надоедать Льву Толстому».

Но соблазн был слишком велик. Можно ли было упустить счастливую возможность встретиться с одним из величайших людей современности? И Рош на несколько дней приехал в Ясную Поляну.

Толстой тепло встретил приятеля своего сына, часто с ним разговаривал, совершал совместные прогулки. Рош, по-видимому, сразу же вносил в свою записную книжку или дневник наиболее значительные высказывания писателя.

Через двенадцать лет, уже после смерти Толстого, он опубликовал свои воспоминания, озаглавленные «Толстой в Ясной Поляне», в малоизвестном парижском журнале «Foi et Vie» от 16 мая 1911 г., по тексту которого мы их и воспроизводим.

Отметим, что в яснополянской библиотеке Толстого сохранилось французское издание книги Чехова «Мужики» 1901 г. в переводе Роша со следующей дарственной надписью на форзаце: «A monsieur le Comte Léon Tolstoï. Souvenir et hommage respectueux. M. Denis R o s h e» («Графу Льву Толстому. На память и] в знак глубокого уважения. М. Дени Р о ш») — см. ее факсимильное воспроизведение на стр. 26—27 настоящ. тома.

ТОЛСТОЙ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

...Лев Николаевич был удивительно крепок телом и даже высок, однако несколько вдавленная в плечи голова, длинная и широкая борода и просторная одежда создавали впечатление, будто он малого роста. Мэтр был весь в черном, с круглой суконной шапочкой на голове. Длинная рубаша Толстого была сшита наподобие блузы французского крестьянина. Многие наши соотечественники по недоразумению утверждали, будто Толстой носил мужицкое платье. На самом же деле он только зимой одевался на русский лад<...> На нем были широкие брюки, и поэтому ноги его в мягких сапогах казались очень маленькими.

Походка и подвижность делали Толстого совсем молодым, и это было весьма примечательно в человеке, шестьдесят девятую (!) годовщину которого отпраздновали в прошлом году. После того как мы познакомились, мне представился случай поздравить его с этим и откровенно высказать ему, какое впечатление он произвел на меня, — впечатление человека, которому не больше пятидесяти лет. Лев Николаевич улыбнулся и живо заметил мне с очаровательным юмором:

— Сейчас я открою вам свой секрет: станьте вегетарианцем, и вы достигнете того же результата.

Я читал когда-то, что Толстой обладал исключительным даром быстро сближаться с незнакомыми людьми; это совершенно верно. Весело перебросившись словечком-другим с каждым из членов своей семьи, он поздравил меня с благополучным прибытием; узнав, кто меня сюда направил и кто я по национальности, он тотчас спросил:

— Итак, мсье, как обстоят дела с Дрейфусом?

Это значило сразу же войти в самую сущность современных интересов, и, в соответствии с лучшими правилами, прямо вступить *in medias res* *. Я, не стыдясь, сознался, что очень плохо осведомлен. Париж я покинул довольно давно, а с той поры, живя в русской провинции, я только изредка читал газеты; вообще, заметил я, история с Дрейфусом меня мало интересует. Толстого мой ответ почти не удивил.

— Но что за поразительное дело! — заметил мне Толстой, — оно имеет чисто юридический характер, а между тем, как сильно оно волнует! Вряд ли какой-нибудь другой процесс мог бы так взбудоражить весь мир.

Минуту спустя, сидя за столом рядом со своей молодой невесткой ⁴⁶ — миленькой шведкой, у которой был такой свежий цвет лица, словно она сошла с картины Шаплена, — Толстой объяснялся с ней по-английски столь же легко и живо, как только что говорил по-французски. В продолжение всего завтрака он разговаривал с большим оживлением. В нем чувствовался отлично, по-старинному воспитанный, галантный и весьма остроумный человек<...>

* в самую суть дела (лат.).

ANTON TCHEKHOV

Les Moujiks



Traduit du russe avec l'autorisation de l'auteur

Par DENIS ROCHE

Librairie Indépendante PERRIN et Co.

ПОВЕСТЬ А. П. ЧЕХОВА «МУЖИКИ»
В ПЕРЕВОДЕ ДЕНИ РОША
(ПАРИЖ, 1901)

Книга, присланная Толстому
Дени Рошем

Обложка

Личная библиотека Толстого.
Музей-усадьба «Ясная Поляна»

* * *

Если кто-нибудь устраивался у рояля, Толстой слушал его с большим удовольствием, вникая в музыкальные фразы; светлые и глубокие темы трогали его, и он открыто выражал им свое предпочтение, с жаром осуждая при этом пустозвонную и громогласную музыку. Он предлагал то одному, то другому поиграть с ним в какую-нибудь несложную игру, спрашивал, кто любит гимнастику, и помню, как-то раз, когда мы вышли из-за стола, протянул мне палочку от серсо и, взяв себе другую; кинул мне кольцо, которым мы затем старательно перебрасывались в течение нескольких минут. Толстой, как мне казалось, набил руку в этой игре и проявлял в ней большую ловкость.

После подобной передышки и развлечения писатель брал свой стакан чая и, держа его очень высоко на блюдечке, удалялся к себе.

* * *

В день моего приезда, к вечеру, Лев Николаевич взял меня с собой на прогулку. Мы славно прошлись, сделав километров четыре или пять по холмам и нивам, вдоль реки. Именно в этих местах, кажется, впоследствии был похоронен Толстой. Кругом виднелись ржаные поля, и я вглядывался в эти бескрайние дали, так размашисто набросанные Репиным в его зарисовках Толстого на пашне<...>

Этот широко раскинувшийся пейзаж Лев Николаевич охватывал взглядом и впитывал в себя в тот июньский вечер, столь же ярко озаренный солнцем в восемь часов, как у нас бывает в пять. Время от времени Толстой

умолкал и долго глядел сквозь полузакрытые веки. Как-то он застыл на месте и стоял несколько секунд, прислушиваясь.

— Вы слышали? — спросил он меня, снова двинувшись в путь, — это перепел затаил свою песню там, вдали.

Перепел, действительно, должен был находиться чрезвычайно далеко; крик его был столь слаб, что я ровно ничего не слышал. Этой черточки для меня было достаточно, чтобы сразу ощутить в Толстом художника, ощутить его обостренную, тонко развитую, вечно живую чуткость и прежнюю любовь к охоте, которая столь долго владела им и которую усилием воли ему удалось, должно быть, только усыпить, но не искоренить, преодолев ее лишь лет пятнадцать тому назад.

По дороге Толстой вступил со мной в разговор, и поддерживать с ним беседу было поразительно легко. В то время как многие иностранные знаменитости, окружив себя ореолом, держатся недоступно, отчужденно, манерно или всецело завладевают разговором; в то время как столько пигмеев-публицистов, пигмеев-журналистов, пигмеев-художников, которые, вероятно, не оставят после себя ни одной страницы, равной тем, какие Толстой исписывал тысячами, принимают вид высочайшего превосходства и разговаривают лишь в ироническом тоне, убивающем в вас всякое желание общаться с ними, — со Львом Николаевичем каждый чувствовал себя сразу же непринужденно. Все понимали, что перед ним можно полностью раскрыть душу, быть самим собою, спокойно высказывать ему то, что думаешь, как старому приятелю, как другу, который все поймет и ответит начистоту. Вы могли осмелиться — настолько человек этот был исключительно приветлив и сердечен, — не всегда соглашаться с его мнениями и порой противоречить ему, и он ничуть не обижался на вас; он испытывал явное удовольствие, вникая в чужую мысль и раздумывая над

*A Monsieur le Comte
Léon Tolstoï*
*Souvenir et hommage
respectueux*
M. Roché
LES MOUJIKS

ЦАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ДЕНИ
РОША НА ЕГО ФРАНЦУЗСКОМ
ПЕРЕВОДЕ ПОВЕСТИ
А. П. ЧЕХОВА «МУЖИКИ»
(Anton Tchekhov. Les Moujiks.
Paris, 1901):

Графу Льву Толстому. На память и
знак глубокого уважения. М. Д. Рош

Личная библиотека Толстого.
Музей-усадьба «Ясная Поляна»

точкой зрения, которая не совпадала с его взглядом. Давно уже привыкнув общаться как с людьми из народа, так и с интеллигентами, Толстой постигал, конечно, цену каждой человеческой личности. Полагаю, что ни один из посетителей Толстого, по крайней мере, со времени его великого нравственного перелома, не покинул писателя без чувства признательности за его желание сблизиться, помочь своим опытом и учением. Подобный образ действий являлся для патриарха не только долгом, но, как он говорил, насущной потребностью. Помню, мне, например, он сказал: «Быть может, это вам покажется назойливым (он очень любил слово *esh-bêter*), которое употреблял в его прямом значении, как делают это многие иностранцы), но я должен сказать вам одну вещь: *таково требование моей совести*, мой долг. Запомните: вы не имеете права на личное счастье; человек на него не имеет права — вопреки самому ошибочному, самому зловредному взгляду юности. Человек может обрести свое счастье только в счастье других: именно в этом он должен находить свое счастье. Самое большое удовлетворение должно быть в удовлетворении других».

* * *

Толстой говорил о русских писателях, особенно о современных, которыми сумел меня заинтересовать. «Как стилисты,— говорил он,— современные писатели гораздо более искусны, чем мы, старики. (Был ли он полностью прав?) Они гораздо больше художники, у них больше ловкости, больше наблюдательности; однако они уже не разрабатывают сколько-нибудь значительные темы — не хотят или не умеют этого делать. Они занимаются одними пустяками».

Так говорил он и о Чехове, которого любил и отдельные рассказы которого вспоминал с добродушной радостью, освещавшей его глубоко посаженные глаза. Лев Николаевич вспоминал, в частности, рассказ, озаглавленный «Злоумышленник». Он считал его одним из шедевров Чехова<...>

Толстой в это время читал книгу Накрохина, с которой рекомендовал мне ознакомиться, и вскоре вручил ее мне. Он был в восторге от этой повести — по правде говоря, несколько длинноватой,— но основная мысль которой была ему, по-видимому, особенно близка. Повесть эта называется «Вор»<...>⁴⁷

Великий романист говорил и о Короленко, который не пользовался его симпатией. Это недоброжелательное чувство вызвано было неуместным лунным сиянием, которое автор «Сна Макара» описывает в одном из своих рассказов, изображая лунную ночь в такое время, когда, по словам Толстого, луна светить не могла. Толстой решительно заключил из этого, что Короленко — писатель, лишенный искренности. У Короленко, однако, были свои мотивы, оправдывавшие этот лунный свет, и он при случае мне их разъяснил⁴⁸.

Говорил Толстой и о наших писателях. Он сказал мне, что ему нравится талант Октава Мирбо и резкость его суждений. С удовольствием вспоминал он о «Дневнике горничной»⁴⁹. Он высоко ценил Анатоля Франса, а также глубоко, от всей души наслаждался шутками Вольтера. Иначе говоря, он наслаждался его сочинениями как чем-то исключительно французским, «национальным». Не потому ли он ценил во времена своей юности одного нашего писателя, которого за границей до сих пор еще уважают и считают весьма типичным,— поверьте, что я отнюдь не с юмористической целью так смело упоминаю рядом с именем Толстого имя Поля де Кука⁵⁰. И хотя Толстой любил острый ум Анатоля Франса, однако признавал далеко не все его произведения; он не находил, например, никаких достоинств в «Таис». Лев Николаевич плохо знал или не понимал Жюль

Леметра и Барреса. Он питал известное уважение к г. де Вогюз, гг. Леруа-Болье и Фаге.

Автор «Войны и мира» так хорошо владел нашим языком, что ни одна подробность в его произношении, оборотах речи и словоупотреблении не запечатлелась в моей памяти, не показалась мне своеобразной или необычной. Полагаю, что, благодаря многостороннему чтению и постоянной практике, Лев Николаевич к этому времени достиг значительных успехов по сравнению с тем, как он говорил, или, по крайней мере, писал в юности. Толстой сказал мне, что, когда он читал французские переводы своих сочинений, в частности переводы г. Гальперина-Каминского, он видел или, вернее, очень хорошо чувствовал, что это не звучало или не клеилось по-французски. Из этого, сознаюсь, я сделал вывод, что Толстой обладал гораздо более тонким чутьем к французскому языку, нежели почти все наши издатели, наши интеллигенты или наши передовые критики, которые смаковали и всегда *понимали* великого писателя в этих переводах и читали их с такой легкостью и наслаждением, словно знакомились с подлинником. И если Толстой, зная, каковы его переводчики, не мешал им орудовать, то объяснялось это тем, что он оставлял свои произведения на произвол судьбы или же разрешал г. Черткову посылать их кому заблагорассудится. И, к сожалению, непохоже, что происходившее при жизни Толстого прекратится после его смерти.

Говоря о более старых наших писателях, Толстой заметил, что на него произвел сильнейшее впечатление Стендаль, и что, работая над «Войной и миром», он испытал заметное влияние «Пармской обители». Точка зрения Фабрицио на происходящее сражение, которое он наблюдает из своего угла, не понимая его общего смысла, сильно поразила Толстого. Эта черта свидетельствовала о глубокой опытности и правдивости, и за это он чрезвычайно высоко ценил Стендаля.

* * *

Мне пришлось как-то выслушать суждения Толстого о некоторых русских художниках. Эти суждения отличались большой определенностью и столь же соответствовали общему строю его мыслей, как и литературные воззрения.

Побывав в Киеве, я получил представление о религиозной живописи Виктора Васнецова. Этот художник пытался выработать для росписи православных церквей современную форму, отличающуюся светлыми тонами, отходящую от византийских и даже чисто русских традиций. Рационалист, таившийся в авторе «В чем моя вера?», решительно восставал против этой попытки обновления иконописного стиля. «Изображать Страшный суд, — говорил он, — Страшный суд на русский лад, с грешниками, которых охватывает пламя или преследуют черти, — в нынешнее время никто не может. В наши дни образованный художник не может больше верить, тем более не может распространять веру в подобные ужасы. Современному художнику следует рассматривать религиозные сюжеты только с исторической точки зрения, как делал это Николай Ге». По тем же мотивам Толстой осуждал живопись Нестерова, художника гораздо менее мистического по духу, чем Васнецов, но достаточно сентиментального. Нестеров довольно свежо изображал всякого рода изысканные идиллии, которые он отыскивал в русской монастырской жизни. Лев Николаевич довольно хорошо относился к Репину как художнику и к нескольким изобразителям крестьянского быта из школы, называемой *передвижники*. Впрочем, я думаю, что, родившись в России в те времена, когда пластические искусства почти не занимали общество, и имея возможность последовательно знакомиться с произведениями искусства

только в Москве, где музеи отличаются крайней неполнотой, автор сочинения «Что такое искусство?» не обладал достаточно выработанным вкусом; быть может, у него не было и того инстинкта, которым он обладал в отношении музыки.

Лев Николаевич горячо восхищался чувством современности, которым был одарен (и доказал это в своей скульптуре) князь Трубецкой. Человек этот забавлял его своей оригинальностью и чрезвычайно ему нравился. Лев Николаевич как-то рассказал мне о нем следующий анекдот, который, насколько я помню, в печати нигде не появлялся.

Трубецкой утверждал, будто художник работает только глазами и в книгах нисколько не нуждается; поэтому он ничего не читал. Толстой однажды спросил у него, читал ли он хоть что-нибудь из его сочинений. Трубецкой сознался, что не читал. Лев Николаевич весело заметил ему на это, что какую-нибудь вещь ему прочесть все-таки следовало бы; он поискал, что бы ему дать, и, наконец, вручил экземпляр какой-то книги. Произошло это во время работы Трубецкого над бюстом писателя. Когда закончился сеанс, Трубецкой ушел, не захватив с собою книги. На одном из следующих сеансов Лев Николаевич напомнил ему о его забывчивости и заставил взять том с собой. «Ну что, — спросил он его через несколько дней, — читаете ли вы мою книгу?» — «Да, — отвечал скульптор, — я ее начал». — «Ну и как?» — «Ах, — сказал Трубецкой, — это такая скучища! Я тотчас же ее и бросил». Рассказывая об этой оценке его книги, Толстой смеялся от всей души.

* * *

Старец, по своему обыкновению, повел меня с собою в несколько крестьянских изб. О том, с какой теплотой и непринужденностью принимали у себя «графа» крестьяне, уже рассказывалось немало. У одного из крестьян незадолго до нашего посещения произошла семейная драма, в результате которой один из его зятьев поссорился с *попом*. Крестьянин, предварительно осведомившись, может ли он говорить при мне, рассказал Толстому свою историю и спросил, как теперь поступить.

— Твой зять должен прийти с повинной, — сказал ему Толстой, не задумываясь.

Мужик был явно обескуражен.

— Вам хорошо говорить, — заметил он. — Коли б это сделали вы, ваше сиятельство, то вам бы ничего не сказали, но нам так дело с рук не сойдет.

— Это неважно, это неважно, — настойчиво отвечал ему Толстой. — Зять твой должен прийти с повинной.

В другой избе он рассказал какому-то пожилому мужику о том, как преобразается теперь Москва, как фабрики и высокие дома загромаждают и безобразят город.

— Ты знаешь Лубянскую площадь, — сказал ему Толстой, — так вот, против Китайгородской стены, на углу Лубянки, недавно выстроили громадный каменный пятиэтажный дом, который торчит на площади, подавляя все остальные дома.

Крестьянин качал головой, кряхтел и ужасался вместе с Толстым.

Через день после моего приезда в Ясную Поляну, прогуливаясь во-круг дома, я неожиданно увидел Толстого верхом на лошади; он высоко сидел в своем седле, опустив руки, — точно такой, каким изобразил его Трубецкой. Лошадь у него была легкая, стройная, но ее скорей можно было назвать добрым конем, чем «красивым животным». Бывший кавказский офицер, родовой дворянин, автор «Холстомера», конечно, отлично разбирался в самых красивых лошадях и знал им цену. Мне кажется, однако, что он любил свою лошадь скорее как простолудин, испыты-

ющий нежность к своему сотоварищу, чем как человек из высшего общества или горожанин, гордящийся тем, что владеет дорогой или необыкновенно резвой лошастью.

* * *

Во время моего пребывания у Толстого он правил корректуры «Воскресения». С любопытством разглядывал он присылавшиеся в Ясную Поляну иллюстрации, которые Пастернак делал к его роману для «Нивы», и подвергал их подробной и чрезвычайно проницательной критике.

Он попросил студента, о котором я упоминал выше, прочесть ему вслух сильно занимавшую его книжку. Это был один из тех тоненьких томиков, которые публиковались в Англии господином Чертковым, — в нем доктор Шкарван рассказывал о том, как он отказался от военной службы под влиянием идей Толстого — всего лишь за полтора месяца до конца срока⁵¹. Лев Николаевич выслушал весьма скромные и чрезвычайно трогательные объяснения Шкарвана и подробности о том, как все это произошло. Отдельные места он просил прочесть ему еще раз, обсуждал их и глубоко задумывался, и это было вполне естественно. Заметно было, что в нем происходила серьезная, полная убежденности внутренняя работа. Толстой прислушивался ко мнению других, но чувствовалось, что он непоколебимо уверен: «Да, именно так, именно так следует поступать».

* * *

Когда я прощался с Толстым, он сказал мне, употребляя выражение, которое, как мне кажется, было для него привычным:

— Итак, до свидания, господин Рош. Вы знаете поговорку: «Гора с горой не сходится, а человек с человеком сходится», надеюсь, что мы увидимся снова.

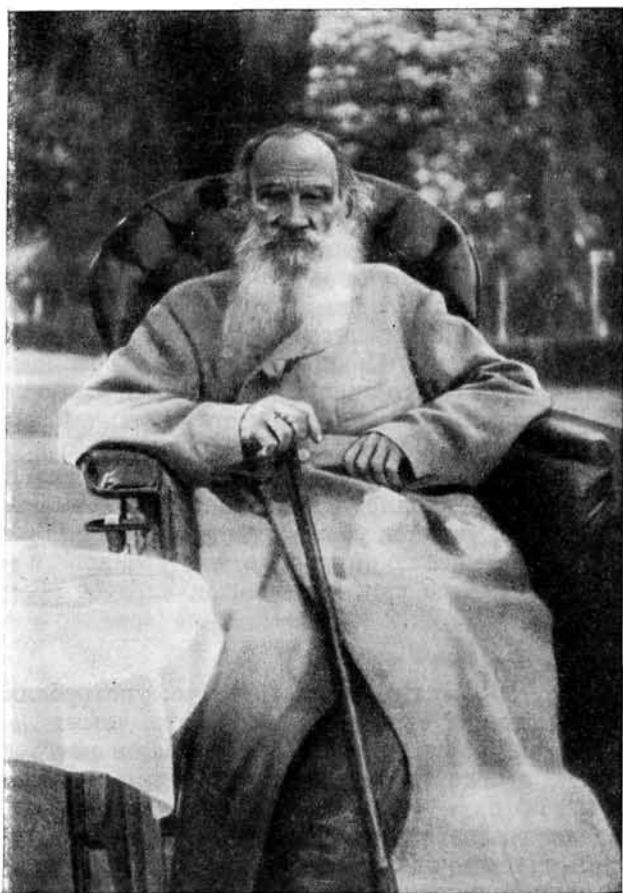
Я также надеялся на это, и мне казалось, что новое свидание намереюсь возможно. Теперь же понимаю, какую я проявил непростительную небрежность. Мне снова пришлось встретиться в России с сыновьями Толстого, я снова увиделся в Петербурге с графиней, но когда я прибыл в Москву, мужа ее там не оказалось, а в Тулу я не поехал. Я полагал, что после болезни, которую патриарх перенес в Ялте, он сильно постарел, и мне пришлось слышать из года в год, что многочисленные визиты иностранцев все больше утомляют его. Вот почему я не осмелился снова злоупотребить его гостеприимством или благожелательностью, как прекрасны они ни были. Я сохранил поэтому в своей памяти только один образ — образ человека самого величественного из всех, к кому мне суждено было приблизиться. Эта натура была в то же время исключительно гармоничной, преисполненной притягательной силы, — и что бы ни говорили о некоторых взглядах Толстого, — цельной и обаятельной.

Т. БЕНЗОН

17/30 августа 1901 г. известная в свое время романистка и историк литературы Т. Бензон (Мария Тереза Блан, 1840—1907) обратилась к Толстому со следующим письмом, на французском языке:

«Граф!

Позвольте мне представиться вам: я принадлежу к числу самых старых и усердных сотрудников „Revue des Deux Mondes“ и приехала в Россию с целью ее изучения. Изучение это окажется весьма неполным, если мне не удастся увидеться с тем, кто выражает собой русскую душу и русский гений, — с тем, чьи произведения издавна внушали мне желание посетить Россию, где я, наконец, уже и нахожусь.



ТОЛСТОЙ

Фотография. Гаспра, 1902

Музей Толстого, Москва

Не согласитесь ли вы принять меня и указать, как до вас добраться? Я живу у своей приятельницы, г-жи Джунковской, в окрестностях Полтавы. Я собираюсь уехать отсюда 15 или 20 сентября и отправиться в Москву, сделав, если вы разрешите, по дороге остановку у вас.¹ Мне сказали, однако, что вы вскоре уезжаете в Крым. В случае, если другой возможности встретиться с вами нет, я без всяких колебаний предприиму и это продолжительное путешествие. Однако я предпочла бы, несколько ускорив мой отъезд из Полтавы, встретиться с вами в вашем имении. Соболаговолите, пожалуйста, сообщить мне: не покажется ли вам мое посещение докучливым, и предупредите меня, когда вы переезжаете в Крым. Прошу, наконец, указать, в какое именно место вы направляетесь. Я вам буду бесконечно признательна за эти разъяснения. Примите, граф, выражение моего пламенного восхищения.

Т. Бензон (г-жа Блан)» (АТ)

На это письмо Толстой продиктовал ответ 2/15 сентября 1901 г. (по-французски):

«Милостивая государыня!

Я очень сожалею, что не могу принять вас в Ясной Поляне. Мы собираемся уезжать в Крым. Я знаю вас уже очень давно и никогда не пропускал случая прочесть ваши статьи в „Revue des Deux Mondes“ и был бы очень рад познакомиться с вами лично.



ТОЛСТОЙ

Фотография. Гаспра, 1902
Музей Толстого, Москва

Но я боюсь, что вы будете плохо вознаграждены за большое путешествие в Крым, которое вы предполагаете совершить, тем более, что мое здоровье не вполне еще восстановлено, и я могу оказаться не в состоянии воспользоваться вашим приятным обществом, как бы мне этого ни хотелось. Во всяком случае, примите, милостивая государыня, уверение в моих лучших чувствах.

Лев Толстой» (т. 73, стр. 143).

6 сентября Бензон снова обратилась к Толстому:

Граф!

«Четверг.

Прошу вас написать мне еще словечко. Мне не хотелось бы быть назойливой: посещение мое ни в коей мере не должно быть для вас докучным, в противном случае я с огромным сожалением тотчас же отказалась бы от него и не настаивала бы более. Но оно будет очень кратким, я прошу вас лишь об одной-двух встречах на несколько минут.

Можете ли вы дать на это согласие — с тем, чтобы это вас не слишком утомило? Если вы позволите мне явиться к вам между 12 и 15 сентября, то не сообразовали ли прислать мне свой крымский адрес? Меня, вероятно, будет сопровождать моя

приятельница, г-жа Джунковская, многолетняя самоотверженная деятельность которой среди крестьян в Федоровке вам, вероятно, известна. Ваше учение — более или менее косвенно — вызвало в России множество прекрасных примеров самозабвения и жертвенности, которые совершаются с такой простотой, что чаще всего остаются неизвестными. Так обстоит дело и с моей приятельницей; она рассердилась бы на меня, узнав, что я сообщаю вам или напоминаю о ее благородной деятельности, но знаю, что она будет столь же счастлива, как и я сама, лично познакомиться с вами.

Примите же, милостивый государь, мою благодарность за столь любезное письмо и вместе с тем примите уверение в глубоком уважении и восхищении, с которыми, как и я, к вам относятся все французы.

Т. Б л а н - Б е н з о н

Я вскоре вынуждена возвратиться во Францию» (АТ).

С. А. Толстая ответила на это письмо, сообщив Бензон, что она может приехать для свидания с Толстым прямо в Гаспру. Несмотря на то, что поездка эта не могла быть особенно легкой для пожилой писательницы, она отправилась в путь и почти через две суток добралась до дачи графини Паниной, где жил в это время Толстой. В своих воспоминаниях, появившихся в журнале «Revue des Deux Mondes» от 15 августа 1902 г. под названием «Autour de Tolstoï» («Вблизи Толстого») *, она отмечает, что встреча с автором «Войны и мира» произвела на нее огромное впечатление. Личность писателя — «больного, преследуемого, отлученного от церкви, но противостоящего буре с непоколебимой мощью огромного дуба, который не боится грозы», навсегда слилась в ее памяти с «рамкой восхитительного крымского ландшафта». «Какой [патетический] контраст между радостным величием пейзажа и трагедией этой судьбы, на которую в ту пору устремлены были взоры всей империи, всей Европы, в предвиденье близкой смерти этого грешника, но сопровождаемой религиозными благословениями и молитвами», — восклицает писательница.

Бензон сознается, что приехала с некоторым предубеждением к Толстому, которое примешивалось к безграничному восхищению гениальным писателем: «Я слегка сомневалась в его простодушии и относилась к его парадоксам с некоторым недоверием. Слишком много фотографий наводнило весь мир, наглядно показывая всем, как он идет за бороной или за плугом, колет дрова, косит яснополянские луга, сидит у верстака или пишет в мужицкой одежде, сидя за столом в пустой комнате, украшенной лишь косяк, пилой и киркой. Эти сенсационные портреты, в том числе последний — шедевр Репина, где Толстой изображен босым, порой коробили меня; я видела в них досадное стремление бить на эффект; я спрашивала себя, можно ли до такой степени окрестяниться, продолжая жить в своем поместье, так упорно отрекаться от всех мирских благ и отказываться от значительных авторских гонораров, предоставляя в то же время пользование ими собственной семье».

Бензон описывает внешность Толстого — «рослого, стройного и крепкого старца, гораздо более красивого, чем на всех своих портретах, так как они передают лишь его львиный облик, своеобразный и внушительный вид его струящейся бороды, резкие черты лица под величественным лбом мыслителя и мечтателя, кустистые брови, наполовину скрывающие пламя его взгляда. Но быстрая смена выражений, необыкновенная живость этого сурового лица ускользают от художника. А в его улыбке столько доброты; этот крестьянин скрывает под своей блузой законченный облик вельможи! Рядом с этой блузой элегантные светлые туалеты графини Толстой несколько удивляют...»

Мемуаристка отмечает, что высказывания Толстого, отличавшиеся исключительной правдивостью, отсутствием всякого педантизма, показались ей поистине обворожительными.

Ниже приводятся наиболее значительные фрагменты из воспоминаний Бензон.

* Статья эта вошла впоследствии в книгу Бензон «Promenades en Russie» («Прогулки по России»). Paris, 1903. Сильно сокращенный русский перевод воспоминаний Бензон был напечатан в 1903 г. в Одессе в виде брошюрки под названием «У Л. Н. Толстого». В ней отсутствует большая часть текста, публикуемого нами по «Revue des Deux Mondes».

ВБЛИЗИ ТОЛСТОГО

...Нас приняли в просторной и изящной гостиной, слишком роскошной, по мнению Толстого, который удалил из нее самые дорогие вещи. Однако полный простор своему аскетическому вкусу он смог дать только в собственной комнате, где всю меблировку составляет широкий грузинский диван, служащий ему кроватью, и письменный стол — длинный, словно банкетный, заваленный всякого рода бумагами, газетами, разрозненными рукописями, по которым вьется его тонкий, быстрый почерк, несколько стихийный, как сказал бы графолог; рукописи эти автор испещрил пометками, главным образом, зачеркиваниями, что не мешает ему без конца править корректуры, на которых типографщики, судя по виденным мною образцам, едва могут разобрать то, что было ими прежде набрано, ибо Толстой — художник вопреки собственной воле: несмотря на отрицательные отзывы об искусстве, для него форма произведений имеет гораздо большее значение, чем можно предполагать по его высказываниям. Я убедилась в этом, когда он говорил о наших молодых писателях, о «Revue Blanche» и пр.

Рассуждая со спокойной иронией о некоторых экстравагантностях импрессионистов, и в особенности сенсуалистов, а также о претензиях «непонятных писателей», воображающих, будто они трудятся лишь для избранных, он с живостью заметил: «Как, однако, хорошо пишут во Франции!» При этом он добавил, что мы почти исключительно пользуемся монетой, начеканенной нашими великими писателями прошлого.

Я спрашиваю его, правда ли, что в своем интервью, недавно помещенном в газетах, он назвал хорошей книгой какое-то почти порнографическое сочинение ⁵², и он признает погрешности этой книги, применяя грубое словечко *аббата Таконе* ⁵³. «Однако, — говорит он, — в первой главе автор выражает сострадание; это гуманно, это искренне...» И затем добавляет: «Это произведение настоящего писателя...»

За обедом беседа продолжает вертеться вокруг Франции и французской литературы. Толстой в восторге от нашего XVIII века, особенно от Руссо, с которым он — несмотря на явное превосходство своего характера — чувствует поразительное сродство: оба с одинаковым смирением исповедались перед потопством, оба питают страсть к правде — это не означает, впрочем, что они всегда верно видят; каждый из них, наконец, дал новый толчок родной литературе, тесно сблизив ее с природой, с человечеством, лишив ее ходуль и придворной мантии. Эпоха Руссо и энциклопедистов — вот, по Толстому, прекрасная пора французской литературы. Восхищение, с которым он относится к Бальзаку, вызывает в нем легкое пренебрежение к Золя; он недооценивает прелесть Альфонса Доде; Гюисманс его интересует. Мопассаном он восторгается, но порой порицает его за выбор сюжетов; одержимость женщинами отравляет, по его мнению, нашу современную литературу.

Говоря о критике, он определяет ее роль в соответствии со своими взглядами: она должна, полагает он, находить в каждой стране всё, что есть лучшего, содействовать падению всего ложного, выявлять ошибки общественного мнения, всякого рода погрешности, по возможности пробуждать добрые чувства, но, прежде всего, взывать к справедливости! Такими достоинствами обладает творчество г. Брюнетьера, к которому он испытывает глубочайшее уважение. Его всегда поражает, говорит Толстой, ясность этого ума, столь честного и непоколебимого; и он любит Брюнетьера за то, что тот объявил о банкротстве науки ⁵⁴. Толстой не раз возвращается к этой мысли и говорит с тем же жаром, с каким отстаивает самые дорогие свои убеждения. Банкротство науки! Что за находка! Как хорошо это сказано и доказано!

Из наших романистов Толстой никогда не испытывал особенного пристрастия к Жорж Санд, и это странно, ибо она, несомненно, дочь и наследница Руссо, которого он обожает. С теплым чувством вспоминает он имя Октава Фелье. Из романов последнего времени его больше всего поразила «Умиряющая земля»⁵⁵; в ней он находит много такого, что может быть с таким же успехом применено к России, как и к Франции! Толстой чрезвычайно ценит г. Эдуарда Рода; он с воодушевлением отмечает высокое значение «Смысла жизни»⁵⁶. Мы говорим о братьях Маргеритах; Толстой очень признателен им за то, что они с глубокой грустью описывают войну⁵⁷, которую никогда не следует защищать или даже просто извинять. Его симпатия к г. Полю Бурже чрезвычайно жива; быть может, она несколько поостынет после чтения «Этапа». Заметим в скобках, что он никогда не одобрял создания какого-либо *Толстовского союза*⁵⁸, какого-либо общества, объединенного вокруг его имени, и даже не хочет отвечать на расспросы о его учении, считая, что существует только одно вечное, всеобщее учение, истинное для него и для всех людей и четко выраженное в Евангелии: «Как только человек понял его, он перестает нуждаться в другом руководителе. Главный смысл христианского учения — это создание непосредственного общения между богом и человеком»*.

Самый большой его любимец в области романа — Диккенс, и легко отгадать почему. Как и Толстой, Диккенс любит маленьких, обездоленных людей, затененные стороны жизни; как и он, Диккенс обличает несправедливость, угнетение и жестокость. Толстому нравится социализм Джордж Элиот. При упоминании об этой незаурядной женщине я спрашиваю, как понимать его собственные антифеминистские теории, и он отвечает с учтивостью безукоризненно воспитанного человека, что стоит за свободное проявление способностей каждого — мужчины и женщины — лишь бы то, что называют культурой, не уничтожило главные добродетели и не порождало тщеславия.

Весь его гнев направлен против Киплинга; он не только ненавидит воинственный империализм английского писателя; но даже отказывает ему во всяком таланте — тут уж он хватается через край.

Ужас, который Толстой питает к войне, особенно проявился в брошюре, которую он, по-видимому, готовил к печати именно в то время, когда я была у него, ибо она через два месяца появилась в Париже и помечена Гаспррой⁵⁹ <...>

Воспользовавшись вопросом Толстого о народном просвещении во Франции, я пытаюсь ознакомиться с его взглядами на педагогику. Вот его ответ:

— Конечно, порядок необходим и нужен какой-то метод, но я рекомендовал бы, главным образом, свободу. Не следует принуждать детей ни к каким занятиям. Пусть они знают, что такой-то урок состоится точно в такой-то час и пусть приходят на него, если им захочется. Если ж они не придут, — значит, у них нет необходимых способностей или преподаватель не умеет сделать урок интересным.

...На мой вопрос, не принесли ли ему утешение прекрасные переводы «Воскресения» (г. де Визева) и «Детства», «Отрочества», «Юности» (Арведа Барина) после стольких огорчений, причиненных ему отвратительными переводами других его произведений, Толстой согласился, что скверный перевод — действительно довольно жестокое испытание для авторского самолюбия, но еще больше, чем калечения переводчиками, он боится

* См. письмо к англичанам, предложившим ему проект кружка под названием «Толстовское общество» («Письмо», переведенное Ж. В. Бинштоком. Париж, 1902).

принятого во всех странах обычая вырезать из сочинения все, что противоречит установившимся верованиям и предрассудкам. Впрочем, все это, по его словам, не имеет большого значения.

Если у Толстого и есть тщеславие, в котором некоторые его обвиняют, то им самим оно совсем не осознано. Я же, со своей стороны, убедилась в его полном равнодушии к вопросам подобного рода. Никогда не читает он статей, посвященных его книгам, боясь найти в них пищу для тщеславия. Когда я заметила, что он наверно давно уже чувствует себя выше похвал и порицаний, Толстой ответил с трогательным смущением:

— О нет, в этом никогда нельзя быть уверенным...

Тем, кто намекает на то, что его жизнь и учение не всегда согласуются между собой, он неизменно отвечает:

— Этим доказывается не низость моих принципов, а только моя слабость.

А слабости, в которой его часто упрекают, мы, после часа беседы, смогли дать настоящее определение — это доброта, доброта, которая боится причинить другим даже малейшее страдание<...>

Я видела за столом, как он с покорностью ребенка ел и пил все, что ему заказывала жена, хотя до болезни он оставался верен вегетарианскому режиму. Он говорил, извиняясь: «Врачи на этом настаивают. Я теперь полностью в их власти».

И он с рассеянным видом спешил покончить с едой — словно с барщиной, с которой ему надо поскорей развязаться. Вероятно, он предпочел бы твердо держаться одной линии поведения, не противоречить самому себе. Но люди и обстоятельства мешают этому, и, по-видимому, он сожалеет об этом из-за возможной огласки, но, в конечном счете, для него важно только одно: оставаться в том душевном состоянии, которое делает невозможным всякого рода жестокость, гнев, насилие. Его смирение перед физическими страданиями трогательно. Он никогда не жалуется, хотя носит в себе две или три неизлечимые болезни<...> Его слабость, следовательно, — слабость героическая. Как бы то ни было, он в ней смиренно сознается<...>

По поводу «Воскресения» я задаю ему вопрос, часто вызывавший споры между мной и моими русскими друзьями. К кому относится слово *воскресение*: к новоявленной ли Магдалине, носящей фамилию Маслова, или к тому, кто ее некогда погубил, ровно ничем не рискуя? Воскресение Нехлюдова, олицетворенной вялости как в добре, так и в зле, жертвы особой душевной инертности, которая исключает угрызения совести и исправление, кажется мне во многих отношениях делом самым трудным, но и самым интересным. Я всегда считала, что воскресшим, по мысли автора, должен считаться именно Нехлюдов. И, кажется, я не ошиблась.

— Однако, — заметил кто-то из присутствующих, — где же это обращение, это воскресение Нехлюдова? В чем оно состоит? Где залог этой перемены? Мы видим, что Нехлюдов сохранил свое состояние и положение в обществе. Он уже почти готов побороть себя и пойти на жертву женщине, которая стала выше его в нравственном отношении, но накануне этой жертвы он жалеет о своем буржуазном благополучии; утехи пустого света, по-видимому, не утратили своей власти над ним.

— Это верно, — замечает Толстой, — поэтому-то его история и не окончена. Я намерен продолжить ее когда-нибудь ⁶⁰, но мне столько еще нужно написать до этого...

И добавляет с улыбкой:

— Есть чем заполнить лет сорок жизни!

Известно, что Толстой готовит к печати свой «Дневник», в котором он пишет о свободе совести. Я не осмеливаюсь заметить, что лучше бы ему снова приняться за хороший роман и что мне сильно хотелось бы,

чтоб он никогда не придавал другой формы, кроме формы романа, своим мыслям, которые приобрели теперь характер изречений оракула. Но разве не отличаются патетическим характером эти мощные проекты старца, смерть которого столько раз объявлялась неотвратимой? Он трудится, не покладая рук, как и прежде, отдавая все долгое утро творчеству. Поехать в Крым он согласился лишь при условии, что ему позволят работать.

Исполненная юности и очарования способность всем наслаждаться сохранилась в Толстом, несмотря на его старость и немощи. Он увлекает нас на террасу полюбоваться красивой лунной ночью. Запах цветов окутывает нас среди полного молчания. Толстой восклицает:

— Что за ночи в Крыму... До чего они хороши!

Он страшно рад тому, что болезнь предоставляет ему время от времени передышки, которые ему удастся иногда использовать для продолжительных прогулок по окрестностям<...>

Мы возвратились в большую гостиную и, сидя вокруг стола, при свете ламп рассматриваем прелестные фотографии, снятые в окрестностях графиней Толстой.

Разговор заходит о репинском портрете.

Он был приобретен государством для Музея Александра III, но теперь духовенство запрещает православным устремлять взор на зловерное изображение человека, отлученного от церкви, и потому трудно предположить, что портрет в ближайшее время сможет занять место в публичной галерее ⁶¹.

Я замечаю, что художник с редкой правдивостью схватил обычную позу Толстого, его манеру закладывать за пояс свои несколько огрубевшие от тяжелого труда руки. Когда кто-то упоминает о его босых ногах, Толстой прерывает нас самооправданием:

— Я шел купаться, — говорит он. — Репин, который жил тогда у меня, сказал мне: «Оставайтесь так».

И я с живейшим раскаянием думаю о многих людях (в их числе была и я сама), которые видят в этой фантазии художника позу, предписанную самим писателем, претензию казаться настоящим мужиком.

То же самое было и со всеми другими будто бы претенциозными позами Толстого. Ужас перед условностями, перед лицемерием, желание протестовать против рутины зла и в то же время равнодушное подчинение требованиям других, когда они не затрагивают самую сущность его убеждений, — вот его подлинное душевное состояние. Приношу ему за себя публичное покаяние.

Между тем нам показывают портреты многочисленных детей — кажется, у Толстого их было человек десять: этот аскет — подлинный патриарх. Вначале — портрет самого любимого, последнего мальчика, родившегося гораздо позже остальных, обожаемого всеми и унесенного смертью так рано, совсем еще ребенком, чудесно одаренного сына старца Толстого — Ванечки.

Графиня говорит о нем с необычайной материнской страстью. «Кто-то, — рассказывает она, — однажды сказал: „Что в Ясной Поляне самое интересное и необычное? — Конечно, Толстой? — Нет, Ванечка. Приезжайешь из-за Толстого, а остаешься ради Ванечки“».

И Толстой охотно дает затмить себя своему умершему ребенку. Он слушает жену, которая говорит много и не без приятности. Она же сознается нам, что чувствует здесь себя несколько одинокой, так как привыкла принимать у себя множество людей. Она называет имена самых интересных своих гостей. Среди них — г. Деруледа, посетившего Ясную Поляну и сказавшего: «Никто в этом доме не сходитя со мною во взглядах, однако мне здесь нравится, мне здесь бесконечно нравится» ⁶².

Вечером Софья Андреевна получила письмо и прочитала выдержки из него вслух; это было обращение какого-то *попа*, заклинавшего ее содействовать обращению Толстого в православную веру до его кончины.

— Это письмо еще преисполнено добрых намерений, — замечает она, — но духовенство засыпает нас грозными предупреждениями. В соседних церквях некоторые священники читают проповеди, направленные против моего мужа. Симферопольский архиерей с амвона называл его антихристом<...>

Толстой не жалуется на какие-либо преследования. Уж давно он просил, чтобы простые читатели и распространители его сочинений не подвергались наказанию и чтобы кара, если таковая последует, пала на него одного. И, написав свое знаменитое письмо по поводу казанских демонстраций⁶³, он был заранее готов к наказанию.

— Утверждают, — заявил он нам, — будто письмо мое растрогало императора, однако все ему без конца повторяли, что Толстой — романист и что политические вопросы ему чужды. И царь подчинился общему мнению.

Толстой предлагает нам в следующий раз встретиться в Ясной Поляне; он произносит последнее слово горячей симпатии к Франции, и я уношу с собой все то невыразимое, что он оставляет у всех, кто приближается к нему...

ЖОРЖ АНРИ БУРДОН

2/15 марта 1904 г., в самый разгар русско-японской войны, в Ясную Поляну приехал французский журналист Жорж Анри Бурдон (1868—1938), командированный редакцией «Figaro» для освещения внутривнутриполитического положения России.

«Побуждаемый глубоким благоговением, безграничным преклонением перед литературным гением Толстого и страстным желанием увидеть собственными глазами образец высшей гуманности», — писал он впоследствии, а главное — надеждой получить от Толстого обстоятельные ответы на многие актуальные вопросы, Бурдон решил во что бы то ни стало побывать в Ясной Поляне. Какой-то из его русских друзей обратился к Толстому с письмом, в котором просил оказать гостеприимство французскому журналисту, и получил по телеграфу лаконичный ответ: «Милости просим»⁶⁴, приведший Бурдона в восторг. Он опасался, правда, что Толстой может увидеть в нем одного из тех бесцеремонных и назойливых путешественников, которые из праздного любопытства вторгаются в дом знаменитого писателя и отвлекают его от работы. Согласится ли он ответить на поставленные ему вопросы? С такими мыслями Бурдон подъехал к яснополянскому дому. Прием, оказанный ему Толстым, превзошел самые смелые ожидания. Журналист покинул на следующий день Ясную Поляну с еще более пылким и благоговейным чувством к великому писателю.

7/20 марта 1904 г. он писал С. А. Толстой:

...«По правде говоря, я не знаю, как выразить вам свою бесконечную благодарность за оказанный вами сердечный прием. Я был для вас лишь проезжим незнакомцем, и вы не могли знать, с какой робостью и в то же время с какой жгучей радостью приблизился я к месту паломничества, которым гордится весь мир. Этому незнакомцу вы, граф Толстой, и все ваши домашние оказали самое нежное гостеприимство, и я покинул ваш дом столь же глубоко растроганный, как ослепленный и очарованный<...> Посылаю вам фотографическую карточку графа, которая, как мне кажется, очень удалась. Если бы мэтр согласился подписать мне ее, я был бы ему чрезвычайно признателен...» (подлинник на французском языке. — АТ).

Возвратившись в Париж, Бурдон принялся за книгу о своем посещении Ясной Поляны, которую закончил в июле того же года (ее резюме было напечатано в «Figaro»). В начале октября книга вышла в свет под названием «En écoutant Tolstoï. Entretiens

sur la guerre et quelques autres sujets» («Внимая Толстому. Беседы о войне и некоторых других предметах»). В качестве приложения Бурдон напечатал статью Толстого «Одумайтесь!» (в переводе Ж. В. Бинштока) и выдержки из его писем к разным лицам, озаглавленные «Неизданные письма Толстого».

15 октября 1904 г. Бурдон отправил Толстым в Ясную Поляну второй из пяти нумерованных экземпляров своей книги с надписью на титуле: «A la comtesse Léon Tolstoï, au comte Léon Tolstoï, au Maître de toute sagesse, j'offre respectueusement ces pages inhabiles où j'ai enfoncé le souvenir d'une journée de la resplendissante beauté. Georges Burdon» («Графине Толстой, графу Льву Толстому, Всемудрому Учителю, почтительно преподношу эти несовершенные страницы, на которых я запечатлел воспоминания о дне, исполненном ослепительной красоты. Жорж Бурдон») ⁶⁵.

В тот же день он писал Толстому из Парижа (по-французски):

«Мэтр!

Мне хотелось сделать общим достоянием память о незабвенных часах, проведенных у вас в гостях, и я собрал в этом томике все ваши основные высказывания во время беседы, которой вы благоволили почтить меня в Ясной Поляне.

Я сделал все, что было в моих скромных силах; без сомнения, в моем рассказе нет того пламени, которое воодушевляло тогда вашу речь, и невыразимой яркости, источаемой вашим животворным учением. Но я старался, по мере сил, верно и точно передать ваши слова. Смею надеяться, что вы убедитесь в этом, и я счел бы себя полностью вознагражденным, если б вы послали мне подтверждение, что это мне удалось. Одновременно с этим письмом я посылаю вам и книгу. Мне остается глубоко извиниться перед вами, что я не выслал ее в тот день, когда она вышла в свет, то есть на прошлой неделе; но тогда роскошный экземпляр, который я для вас предназначил, еще не был готов.

Самое задушевное мое желание и, возможно, самое назойливое — когда-нибудь возобновить свое паломничество в Ясную Поляну и снова приблизиться к пылающему там и озаренному сиянием очагу ⁶⁶. Прошу вас, мэтр, принять вместе с пожеланием долгого и доброго здоровья выражение моего горячего к вам уважения. Графиня позволит мне, надеюсь, сохранить и ее в том немеркнувшем воспоминании, которое у меня осталось о вашем гостеприимстве, и принять от меня самые почтительные знаки уважения. Жорж Бурдон» (АТ).

Толстой ответил Бурдону следующим письмом (по-французски) 3 ноября:

«Дорогой г. Бурдон. Благодарю вас за присылку вашей книги. Я очень ценю точность, с которой вы передаете наши беседы, но должен признаться, что чересчур хвалебный тон произвел на меня тяжелое впечатление. Очень рад был найти в вашей книге перевод моей статьи о войне. Хотя я уверен, что конец войны наступит не так скоро, но он наступит в меру наших усилий в этом направлении, а моя статья — одно из этих усилий, хотя и небольшое. Жена моя польщена всем тем, что вы о ней написали ⁶⁷. Она вам кланяется, а я жму руку. Лев Толстой» (т. 75, стр. 172).

22 января 1905 г. Бурдон с благодарностью откликнулся на теплое письмо Толстого. Подтверждение, что он верно передал высказывания своего великого собеседника, не могло не явиться величайшим торжеством для мемуариста. Что же касается восторженных похвал, которые вызвали у Толстого некоторое неудовольствие, то их безусловная искренность, конечно, только усилит чувство симпатии к Бурдону со стороны современного читателя.

ВНИМАЯ ТОЛСТОМУ

...Звоню у двери, обитой кожей, усеянной гвоздиками и защищенной навесом. Отворяет слуга; я переступаю порог второй двери; меня вводят в узкую библиотечную комнату на нижнем этаже. Жду.

Я испытываю тот легкий трепет, который должен быть знаком каждому приближающемуся к кратеру вулкана. Меня пугает мысль, что я испугаюсь. Сейчас я увижу Толстого! Не знаю человека, чьи книги могли бы нарисовать в воображении более возвышенную, внушительную, исполнен-

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ЖОРЖА
БУРДОНА НА КНИГЕ
«ВНИМАЯ ТОЛСТОМУ»

(Georges Bourdon. En écoutant Tol-
stoï. Paris, 1904):

«Графине Толстой, графу Льву Толсто-
му. Всемудрому Учителю, почти-
тельно преподношу эти несовершенные
страницы, на которых я запечатлел вос-
поминания о дне, исполненном ослепи-
тельной красоты. Жорж Бурдон»

Личная библиотека Толстого.
Музей-усадьба «Ясная Поляна»

*A la Comtesse
Léon Tolstoï,
Au Comte Léon Tolstoï,
Au Maître de toute sagesse,*

EN ÉCOUTANT TOLSTOÏ

*J'offre respectueusement ces
pages inhabiles, où j'ai enfermé
le souvenir d'une journée de
de resplendissante beauté,*

Georges Bourdon

скую личность, и Толстой, вложивший всю душу в свои произведения, представляется мне чем-то вроде библейского бога — бесконечно сильным, бесконечно добрым, непреклонно строгим к несправедливости, суровым ко злу и особенно внушающим страх вследствие своего безграничного совершенства (...)

Долго ждать мне не пришлось. Через несколько минут я услышал, как кто-то медленно спускается по лестнице; отворяется дверь, и на пороге появляется он.

Толстой делает в этой крошечной комнате шага три по направлению ко мне; привычным жестом заложил он левую руку до мизинца за пояс, правая рука его опущена, широкая улыбка светится из-за длинной бороды — действительно, передо мною внезапно возник бог-отец с картин итальянских мастеров. На нем серая блуза с открытым воротом, позволяющая различить за бородой белую рубашку без воротничка, — широкие брюки и кожаные туфли; но не этот костюм, приобретший популярность во всем мире благодаря иллюстрациям, бросается мне прежде всего в глаза, — а поразительная величина его лица. Как изображают на буйных фресках Отца человеческого, — в нем все неизмеримо велико: лоб, высокий и громадный, словно стена цитадели, широкий нос, плотные губы, седые чащи бровей, усов, маркграфской бороды; огромные уши, отверзтые словно люки корабля, и в особенности его серо-синие, глубоко сидящие глаза, которые пылают, словно очаги, кипят, как кратеры, а когда они обращают на вас темное пламя своих зрачков, то проникают вам прямо в душу.

Толстой говорит:

— Добро пожаловать к нам, господин Бурдон!

Он осведомляется о том, как я доехал, и затем, увлекая меня за собой, проводит через переднюю в столовую на втором этаже.

— Не выпьете ли чашечку кофе? Вам надо согреться.

Он усаживает меня в большой светлой комнате за длинный, покрытый скатертью прямоугольный стол, на котором кипит медный самовар. Сам он устраивается напротив меня. В ответ на мои извинения за столь поздний приезд, он говорит:

— Что вы, что вы, получилось очень удачно. Если бы вы приехали раньше, я не смог бы уделить вам столько времени, сколько хотелось бы. Утренние часы я приберегаю для работы: это мои любимые часы.

В нескольких словах я описываю ему свое путешествие — отъезд из Москвы, тульский вокзал, гостиницу Вермана, четырнадцать верст по снегу. Толстой внимательнейшим образом выслушивает мой рассказ; его пылающие глаза так и впииваются в меня, словно я сообщаю что-то чрезвычайно важное. Дослушав меня, он говорит:

— А теперь я попрошу у вас разрешения уйти поработать. Мы увидимся днем. Поговорить же как следует мы лучше всего сможем вечером. А если вы любите ходить пешком и снег не пугает вас, то в четыре часа мы отправимся прогуляться вдвоем. Переночуете вы, конечно, здесь?

Я приношу свои извинения: не предвидя столь любезного приглашения, я оставил свой багаж в Туле<...>

Голос у Толстого звучит отчетливо и благодушно, он серьезен, но не суров. По-французски он выражается легко и свободно, иногда подыскивая, но всегда находя нужные слова; речь его проста, точна, обдуманна<...>

Отправив мой «экипаж», Толстой говорит мне, положив ногу на ногу:

— Есть ли новости из Санкт-Петербурга?

Я сообщаю ему все, что мне известно, и прибавляю:

— Внимательно ли вы следите за военными событиями?

Толстой с огорченным видом взмахивает правой рукой:

— Разве можно оставаться безучастным к подобному конфликту? Разве можно оставаться безучастным к происходящей войне, к войне вообще? Какое горькое чувство вызывают эти кровопролития!

Я поднял глаза. Прямо передо мной, над головой Толстого, я увидел прижатую к стене булавками французскую карту Кореи и Маньчжурии.

Я говорю:

— Но ведь эта война — не только конфликт между двумя народами. Она обрушила друг на друга две расы. Какие последствия, по вашему мнению, может иметь победа той или другой расы?

— Не все ли это равно? Я не делаю различия между расами. Прежде всего я думаю о «человеке», мне все равно — русский он или японец — я за рабочего, за угнетенного, за несчастного, к какой бы расе он ни принадлежал. При всех обстоятельствах — что выиграет он от этой схватки?..

Я допил свой кофе. Толстой поднялся с места. Его прекрасное благодушное лицо с улыбкой склонилось ко мне:

— Я вынужден вас покинуть. Возвращаюсь к своей работе. И вам, конечно, следует отдохнуть после ночи, проведенной в поезде. А может быть вам нужно поработать? Вы найдете там, в библиотеке, все, что вам понадобится. Итак, до скорой встречи.

В начале завтрака быстро, как вихрь, влетает графиня в лиловом платье, элегантная и простая, с молодым лицом, каштановыми волосами без малейшей седины, с острым взглядом, живыми движениями, быстрой речью<...> После завтрака мы остаемся с ней наедине. Она сообщает мне тысячи подробностей о себе и о своем муже<...>

Но вот входит граф.

— Знаешь ли, — говорит она, — господин Бурдон экзаменует меня по вопросам веры. Он спрашивает, почему я не придерживаюсь тех же взглядов на религию, что и ты...

Толстой широко улыбается; обе кисти его рук заложены за пояс.

Внезапно, прежде, чем я успеваю заметить, графиня исчезает в своих комнатах, и я снова остаюсь наедине с мэтром. Мы спокойно расхаживаем с ним по комнате.

— Вы сказали мне, — замечает он, — что во Франции проявляют страстный интерес к происходящей войне?

— Да, насколько я могу судить об этом по нашим газетам и получаемым мною письмам. Но я покинул Францию до разрыва дипломатических отношений и не могу сообщить вам свои непосредственные впечатления.

— Но ведь крайние левые, социалисты, выступают против войны и не слишком-то нежничают с Россией?

— Вам известны их мотивы<...> Вы, конечно, прочли речь Жореса в Сен-Этьене? ⁶⁸

— Да, я прочел ее. Но она не убедила меня, ибо социалисты, в сущности, не отвергают войну. На Цюрихском конгрессе, если не ошибаюсь, какой-то голландец поднялся и предложил резолюцию в пользу стачки солдат. Тогда Бебель резко выступил против этой резолюции, выставив чисто буржуазные аргументы и ссылаясь, главным образом, на то, что французы не замедлят воспользоваться этой стачкой, чтоб обрушиться на Эльзас и Лотарингию. Это убедительный пример. Нет, социалисты еще не совсем освободились от своего старого воинственного инстинкта; они произносят красивые речи, но стоит только вмешаться в игру патристическому предлогу — и они ровно ничем не будут отличаться от буржуа.

Я возражаю Толстому, указывая на искренность и мощь социалистической пропаганды во Франции. Напоминаю о речах Жореса, посвященных Тройственному союзу, а также Эльзасу и Лотарингии (этих речей Толстой, по его словам, не знал), говорю о смелости, проявленной в то время великим оратором, об оскорблениях, которыми осыпала его националистическая пресса; вспоминаю об оскорблениях, нанесенных Прессансе... ⁶⁹ Но Толстой покачивает головой:

— Слова, одни только слова. Но, повторяю вам, стоит так называемому патристическому вопросу завтра встать перед французским парламентом, стоит только разгоряченному общественному мнению высказаться в пользу войны, и вы увидите как Жорес уступит и проголосует вместе с теми, кто сегодня смешивает его с грязью.

— Я в этом не уверен. Во всяком случае, гипотеза эта не может быть доказана. Знаю только, что Жорес — человек исключительно добросовестный, несомненно честный и чистосердечный. Но он не отвлеченный мыслитель. Он политический деятель, то есть реалист.

— Я не делаю различия между мыслителем и политическим деятелем. Их ответственность равна.

— Допустим, что так<...> Предположим, что, действительно, может создаться ситуация, когда Жорес проголосует за войну, хоть я в этом сильно сомневаюсь, но я уверен, что прежде чем это случится, он приложит все усилия, чтобы предотвратить кровопролитие и постарается всячески воспрепятствовать черному делу. Вправе ли мы сомневаться в том, что социализм честно, истинно и мужественно миролюбив?

— Да, да, я понимаю вас, каждый политический деятель по этой причине является оппортунистом. В том-то и заключается главная беда!

И Толстой посмотрел вверх, безнадежно махнув рукой.

* * *

Графиня предложила мне прокатиться днем в сани. В четыре часа она входит в столовую; на ней меховая шапочка и белая вуаль.

— Вы готовы? Пора!

Толстой только что вошел и сел с края большого стола; опершись локтями на скатерть, он склонился над чашкой кофе с молоком.

— Быть может, ты хочешь, чтобы господин Бурдон остался с тобой?

— Я немножко устал. Сегодня я изрядно поработал. Предпочитаю погулять в одиночестве. Мы поговорим вечером.

В половине седьмого мы садимся за стол обедать. С этой минуты и до полуночи, за исключением нескольких кратковременных перерывов, я не покидаю больше Льва Николаевича. Говорил он, главным образом, о войне, но Толстой — это неисощимая книга жизни и красоты, и если он позволяет задавать себе вопросы, то остается только слушать его без конца <...>

Графиня сказала мне, что Толстой принял решение ничего больше не публиковать до самой смерти. Я спрашиваю его, так ли это?

— Да, я, действительно, больше ничего не буду издавать, во всяком случае, по-русски. Кое-какие мелочи я буду продолжать посылать за границу, как посылаю теперь в Англию ⁷⁰, где намерен издать небольшое сочинение о нынешней войне ⁷¹. Что же до всего остального, то пусть ознакомятся с этим после моей смерти. Заранее оповещать о подобных намерениях, пожалуй, ребячество, я отдаю себе в этом отчет, но на этом решении я окончательно остановился. К чему, в сущности, спешить? Все и всегда приходит в свой срок, а тщеславное желание писать — препротивный недостаток.

Я протестую, утверждая, что писатель может стремиться популяризировать свои мысли из более благородных побуждений и что содействовать просвещению своих современников — вполне законное честолюбие. Графиня присоединяется к моему мнению, но Толстой заявляет:

— Пусть так, пусть так. Но тщеславие все же занимает в таком же-лании известное место. Сознający это писатель должен победить свою слабость. Если человек испытывает потребность поделиться с людьми чем-то важным, то не все ли равно, когда именно это будет сделано! Неторопясь с изданием, он может глубже продумать свою работу и ярче ее изложить. Однако мы поддаемся непобедимой склонности все соотносить с собой — с той частицей времени и пространства, которые мы занимаем в бесконечности, — словно мир и человечество ограничены нашим существованием. Что за самоуверенность! Со всех сторон нас окутывает вечность. А в поступательном движении человечества — что значат десять, пятнадцать лет?

Он прибавляет без всякой грусти, с полным спокойствием в голосе:

— Впрочем, что касается меня, то так долго ждать и не придется.

Я говорю в свой черед:

— Время, в самом деле, ничто. Пятьдесят дней или пятьдесят лет — одно и то же. Но ведь некоторые люди умрут, так и не узнав того, что вы считаете полезными истинами. Вы лишите их этих знаний. Если, по вашему мнению, знания эти действительно спасительны, то имеете ли вы право скрывать их от людей?

— Это пустяки. Если не одни, то другие узнают. Ведь трудятся не для определенных лиц. Я упрекаю себя за то, что не пришел к этому решению раньше. Если бы все, кто пишет, действовали подобным образом, то в свет выходило бы меньше бесполезных книг. Если бы мы освободились от желания, пусть даже бессознательного, выпячивать себя, книги выпу-



• «ВОСКРЕСЕНИЕ» НА СЦЕНЕ ПАРИЖСКОГО ТЕАТРА «ОДЕОН». 1902, декабрь
Сцена из пятого акта. Слева направо: Симонсон — Жанвье, Нехлодов — Дюмени,
офицер — Виоле.

Фотогипсия

«Théâtre», 1902, № 95

скались бы только теми, кто действительно пишет из потребности своей совести и кому есть что сказать.

Я прибегаю к поддержке графини.

— О,— говорит она,— для нас это не имеет значения. Все, что он пишет, мы читаем. Что же касается материальных выгод, то, как вам известно, он отказался от авторских прав на все свои сочинения.

— Нет, нет, поверьте мне,— говорит Толстой в заключение,—так гораздо лучше.

Он расспрашивает нас о прогулке.

— Я показала господину Бурдону крестьянский дом — повела его к ... (она называет имя).

Толстой осведомляется о здоровье этого крестьянина и его родных, расспрашивает о его делах. Еще находясь под впечатлением от только что виденного, я описываю нищету этих несчастных людей, их жизнь, исполненную безнадежности и схожую с существованием животных; говорю о их душевных и телесных муках, упоминаю об ужасных паразитах, которые кишат на них. Рассказ свой я заканчиваю словами:

— Подумать только, какой ужас — в течение всей своей жизни эти люди не знают даже, и не узнают, что такое сладкий отдых в постели!

Вероятно, я произнес свою тираду с чрезмерным пылом, ибо все единодушно засмеялись. Высказанное мною чувство сострадания, к которому примешивалось негодование, показалось присутствовавшим комичным. Толстой откинулся на спинку стула и, сложив на животе руки, от души хохочет.

— Как! и вы смеетесь, мэтр?

— Ну конечно, мне смешно. Что страшного в судьбе этих славных людей? У них есть свои радости, поверьте, и они любят жизнь. Простота нравов — вещь весьма завидная. Пожалеем, наоборот, о том, что не все люди в состоянии им подражать. Они живут немногим? Но и удовлетворяются они немногим. Насчет паразитов — я с вами согласен. Что же касается матрацев... Разве матрац — непременное условие комфорта? Я, например, не могу спать в мягкой постели. Когда-то, во время наших непродолжительных разъездов, если меня приглашали друзья, которые не знали моих вкусов, а я не чувствовал себя достаточно свободно с ними, то подчас испытывал истинные мученья. Мне устраивали «прекрасную постель», но, проворочавшись битый час с боку на бок в этой «прекрасной постели» и не в силах сомкнуть глаз, я принимал героическое решение: покидал «прекрасную постель» и, растянувшись на полу, крепко засыпал на ковре.

— Да у них и ковра-то нет: голые доски, и так всегда, в течение всей жизни!

— Дело привычки. Ничуть не плохо спать на досках.

— Поверьте, мною это испытано: я был на военной службе...

— Да поймите, если б они сильно захотели, то у них были бы и кровати. Вы полагаете, они так бедны, что не могут купить себе или соорудить матрацы? Раз они обходятся без них — то, значит, им так нравится.

.....

В этот трагичный для истории русского самодержавия момент вопрос о войне занимает все наши мысли. Мы неизбежно к нему возвращаемся. Но не требуйте от Толстого критики военных операций и не требуйте прогнозов, подобных тем, что делаются в редакторских кабинетах о судьбах воюющих армий. В происходящей войне он замечает лишь истинный смысл конфликта, его интересуют лишь судьбы народов.

Он говорит:

— Почему стремятся видеть в японцах низшую расу? По-моему, они теперь примерно в том же положении, в каком находились русские при Екатерине II. Они выходят из состояния варварства и освобождаются от крепостного права. Они развиваются и проникаются самосознанием. Что может быть законней этого? И с какой стати Запад смеет чинить им в этом препятствия? Под каким открытым предлогом можно выражать им свое недоверие?.. Ведь нельзя их винить за движение вперед! На них лицемерно нападают, обличая их слабости; подметив, например, что они превращают себя в герцогов, маркизов, баронов, мы насмехаемся над ними. Хороша справедливость! А разве до Петра Великого у нас были дворяне? Кому русское дворянство обязано своим существованием, как не этому императору? Вот я, например, граф. По какой причине я граф? Почему первый в моем роду стал графом? И почему господин Ито не может с таким же успехом стать маркизом?

— Пусть так. Японец способен к самосовершенствованию, и его стремление к прогрессу достойно уважения. Но цвет кожи ведь у него желтый. Можно ли отрицать, что желтая раса отстает от белой? И поэтому в нынешнем конфликте разве белые не должны сочувствовать в первую очередь белым?

— Я несколько не уверен в этом.

— Но где же прогресс желтой расы? Взгляните на Китай: где сколько-нибудь заметные следы его эволюции за целые тысячелетия?

— Мы плохо знаем азиатский мир. Кто изучил его, кто проникся им, кто овладел его сознанием? Я вижу, что китайцы и индусы — не воинственные народы, что они презирают войну и тех, кто ее ведет, что их Будда объявил главной заповедью — запрещение причинять смерть даже насекомому, это уже немало, и хотя бы в этом одном их истинное превосходство над нами. Я вижу, что они не убивают. Из рассказов путешественников я вижу, что они добросовестны в деловых отношениях, уважают свое слово, что они не лгут. А ведь это не часто встречается в Европе.

— Но посмотрите, какова их дипломатия: вкрадчивая, коварная, вероломная.

— Да, да. И к тому ж они применяют пытки. Как странно! Чем можно это объяснить? Однако их философы изложили вечные истины: подумайте о Конфуции, о Будде. Известны ли вам в истории человечества мыслители, моралисты, апостолы, которые были бы более великодушны и благородны, чем эти? А ведь они принадлежали к желтой расе. А то, что японцы жестоки, — так разве и мы не жестоки? Подсчитывал ли кто-нибудь жестокости, вписанные в пассив так называемого цивилизованного мира? <...> Так вот, — продолжает Толстой, — как можете вы желать, чтобы я а priori решил, в каком случае цивилизация выиграет больше — когда восторжествует Россия или Япония? И где она, эта цивилизация? У желтых или у белых? Где ее действия, где ее плоды в Европе? Двигается ли мир вперед, пятится ли он назад? Разве не бывают часы, когда можно задать себе этот тревожный вопрос? Разве, когда Англия громит Трансвааль, нельзя утверждать, что она находится в состоянии регресса?

— Но неужели Англия сделала что-нибудь худшее, чем другие народы, в угоду своим колонизаторским аппетитам?

— Ничего худшего, конечно ⁷². Франция, Германия, Россия, Италия — словом, все нации, я с вами согласен, поступают точно таким же образом. Но где найдете вы в колонизаторской деятельности Европы подлинно цивилизующую мысль? А ведь искать ее следовало бы именно там. Современные изобретения ровно ничего не доказывают в пользу развития человеческой нравственности. Я вовсе не в восторге от железных дорог, телеграфа, телефона, от всех этих достижений, которыми человек воображает доказать прогресс и которые свидетельствуют только о жажде изощренных наслаждений. Мы восхищаемся пирамидами и спрашиваем себя: «Какова цель этих поразительных нагромождений камней?» Все изобретения цивилизации — это наши пирамиды; быть может, через тысячи лет появится народ, который, найдя наши следы, скажет: «Что же это были за странные люди, воображавшие, будто быстрое передвижение из одного места в другое является основной жизненной деятельностью человека?» И народ этот будет прав. Я никогда не понимал, в чем польза путешествий; путешествия — это только пустая трата времени; они — помеха труду. Разве я неправ? *

Я отвечаю с улыбкой:

— Мэтр, я приехал из Парижа. И не у меня следовало бы сегодня спрашивать, согласен ли я с вашим мнением.

Толстой с улыбкой говорит в свой черед:

— Пусть так. Но поездка, которую вы предприняли, это условие, необходимое вам для изучения вопроса. Она поэтому — особая форма труда. Но что вы скажете об увеселительных путешествиях? **

* «Я часто говорил, что все несчастье людей происходит от того, что они не умеют спокойно оставаться в своей комнате». — П а с к а л ь. «Мысли», ч. I, статья VII.

** «Любопытство — это не что иное, как тщеславие. Чаще всего хотят узнавать лишь для того, чтобы было о чем говорить. Не путешествовали бы по морю, если б нельзя было об этом рассказывать и для единственного удовольствия — видеть, без надежды поговорить с кем-нибудь об этом». П а с к а л ь. «Мысли», ч. I, статья V.

Страстный путешественник, я принимаюсь горячо защищать путешествия<...> Разве не выигрывает всеобщая мысль от быстроты перемещения идей? И не является ли, в свою очередь, мыслитель, сам того не сознавая, лишь продолжателем своих предшественников, подобно редкому цветку на ниве взрастивших его идей?

— Нисколько,— живо возражает Толстой.— Мыслитель — это растение, дающее побеги на диких скалах. Он питается собственными соками, это продукт его собственной субстанции. Эпиктет, Сократ, Платон не пользовались железными дорогами. Спиноза жил в своей дыре, Декарт — у своей печки. Кант был отшельником. Мысль — это лучшее произведение труда. А труд возможен и плодотворен только в молчании и уединении.

Всегда на устах у Толстого слово *труд*. Труд — это радость его жизни, его неизменный спутник. Он как-то произнес перед одним из своих собеседников поразительные слова, прозвучавшие и как крик гордости и как признание своего смирения: «У меня работы на триста лет!» У него хватило бы работы на целую вечность,— ведь он взял на себя дело совершенствования рода человеческого, а люди вовсе не хотят быть совершенными.

* * *

Слуга поставил перед Львом Николаевичем странное блюдо, нечто вроде нарезанных желтых овощей. Я спросил его:

— Правда ли, что вы предложили послать больным и раненым участникам войны тысячу ящиков ваших книг? Петербургские чиновники из Министерства уверяли меня в этом.

Все засмеялись. Толстой весел, он любит смеяться и смеется от души<...> Мой вопрос показался ему, без сомнения, крайне нелепым. Он смеялся открыто, откинув назад свою прекрасную голову, обе широкие кисти рук его были просунуты за пояс. А желтое овощное блюдо продолжало дожидаться в тарелке.

— Да, да, я читал об этом в какой-то газете. Опровергать я не стал; если б я оправдывался во всех глупостях, которые печатаются обо мне в газетах, то на это занятие ушла бы вся моя жизнь. Но откуда могла взяться эта бессмысленная выдумка?

Несколькими неделями ранее газета «Temps» опубликовала открытое письмо г. Жюль Кларти, в котором он, обращаясь к Толстому, спрашивал, не прискорбно ли ему констатировать, в связи с разразившейся японской войной, неудачу своей миролюбивой проповеди, которой он посвятил всю жизнь. Я решился спросить у мэтра, читал ли он это обращение французского писателя.

— Да,— ответил он,— я действительно читал отрывок из этого письма в одной из русских газет.

— Ответите ли вы на него?

— Зачем? Что мог бы я сказать по этому поводу такого, что не было бы пустой болтовней? Впрочем, в той же газете я прочел ответ на это письмо моего сына, находящегося в Каире. Ответ этот достаточно разумен, и частично я готов под ним подписаться. Призывая любить мир и всеобщее согласие, я никогда не рассчитывал на то, что эти увещания могут сразу же принести плоды; я никогда не думал, что в мире может разом победить братство; и если б я увидел, что подобное умиротворение свершилось, то счел бы свои усилия бесплодным ребячеством. Нынешняя война — это только проявление губительного людского безумия. Она не может не удручать всех людей, обладающих совестью и чувством долга, однако не кажется им неожиданной: если б мы вдруг явились свидетелями всеобщего примирения людей — это было бы поразительным чудом.

Итак, мой сын в своем ответе проявил немало здравого смысла. Но я не совсем согласен с ним там, где он утверждает, что преисполнен доверия к благодетельному вмешательству арбитража: я не верю в арбитражи ⁷³.

— Однако, — замечаю я, — разве всеобщий, регламентированный и честно проводимый в жизнь арбитраж не может явиться этапом в деле окончательного умиротворения? Сама идея арбитража разве не представляет собой формального согласия на мир?

— Конечно, и я не оспариваю случайные благие последствия арбитража. Несомненно, Гаагский трибунал заслуживает единодушного одобрения, и следует глубоко сожалеть, что нынешний конфликт не был передан ему на рассмотрение тем человеком, который, взяв на себя инициативу создания этого трибунала, посылает ныне целый народ воевать ⁷⁴. Спасение, однако, заключается не в дипломатических комбинациях, как бы хорошо они ни были задуманы, как бы великодушны они ни были; спасение — в совести каждого человека, в твердом понимании долга, который каждый обязан нести в самом себе: оно там — и больше нигде. Я верю в человека, но не доверяю государственным ухищрениям. Я хочу, чтобы любовь к миру перестала быть робким стремлением народов, приходящих в ужас при виде бедствий войны, а чтоб она стала непоколебимым требованием честной совести.

* * *

Обед медленно подходил к концу. Мы уже добрались до десерта. Мэтр ел неторопливо, но с аппетитом. Иногда, чтобы выслушать меня или ответить, он поворачивал ко мне голову, и тогда я чувствовал, как его пылающие, странные, необыкновенные глаза, из-под чащи бровей, словно из глубины огненной пещеры, вонзали в меня свои острия. Иногда он глядел перед собой, в беспредельность. Временами откидывался на спинку стула, держась за пояс или прикрыв грудь своими огромными ладонями. Все в этом человеке странно и поразительно. Как могут руки до такой степени являться отражением души? В его руках — мощь, величие, изящество. Они крупные и широкие, испещрены бесчисленными морщинками; пальцы, длинные и сильные, круглые, как цилиндр, без утолщений на фалангах, и четырехугольные на концах. Руки огромные, мощные и властные, и в то же время изящные и гибкие, явно принадлежащие аристократу; когда он кладет их себе на блузу, можно подумать, что он собирается обхватить ими всю грудь.

Он говорил о России, о русском политическом режиме, о людях, его представляющих, об императоре, о его министрах, в частности о «человеке, столь плачевно обделенном интеллектом, — г. фон Плеве».

— Какое чудо, — замечаю я, — что вас оставляют в покое. Вы говорите и пишете что вздумается, и никто не тревожит вас. Вы единственный свободный человек во всей империи. Вы осуществляете своего рода парадокс: живя при режиме, где все зависит от воли одного человека, вы оказываетесь единственным препятствием, перед которым в нерешительности останавливается правительство. И это все же доказывает, что в настоящее время не существует такого самодержавного правления, которое посмело бы пренебречь общественным мнением.

В ответ Лев Николаевич, после непродолжительного размышления, медленно произнес следующие слова, свидетельствующие о высоких свойствах его ума:

— Да, я знаю. Но и эта предоставленная ими свобода связывает меня. По правде говоря, я чувствую себя гораздо менее свободным, чем если бы они что-нибудь против меня предпринимали.

И он добавляет, теперь уже с улыбкой:

— Я напоминаю мореплавателя на сбившемся с пути корабле; он один способен держать рупор и знает это. Он должен применять его с пользой и не выкрикивать в него глупости, а это не всегда легко.

Я намекаю на отлучение, которому его некогда подверг Святейший синод.

— Это был совершенно бесполезный жест, — мягко замечает Толстой.

В разговор вступает Софья Андреевна:

— ...Поверите ли, — говорит она, — нашли люди, которые распустили клевету, будто свой ответ Синоду я написала под диктовку мужа?..⁷⁵ А между тем я отправила это письмо вопреки его воле. Он находился на прогулке, когда сюда прибыло постановление Святейшего синода. Я была возмущена и под первым впечатлением сочинила это письмо. Но так как я сильно сомневалась, будет ли этот ответ одобрен мужем, я тотчас же его переписала и отправила на почту. Так что когда муж мой возвратился, он одновременно узнал и о решении Святейшего синода и о написанном мною ответе. И мое предвидение оправдалось. Он заявил мне: «К чему писать им? Ты обращаешь на эти дела слишком много внимания. Надо было промолчать». Но я возразила ему: «Тем хуже. Твой совет запоздал. Письмо уже отправлено».

Матр с веселой улыбкой обернулся к своей жене и, покачав головой, дружелюбно заметил:

— Да, да, я был прав. Лучше было бы нам промолчать. Впрочем, все кончилось хорошо. Ты написала прекрасное письмо, вот и всё.

* * *

Во время шквала, вызванного делом Дрейфуса, молчание одних удивляло весь мир — молчание Толстого.

У него пытались выведать его мнение, его расспрашивали устно и письменно — Толстой молчал. У борцов за правду это вызывало чувство сильнейшей горечи. Они, конечно, льстили себя надеждой, что Толстой заодно с ними<...>

Я намерен был спросить Толстого о причинах его молчания. Он исполнил мое желание, даже предупредив его. Он первым заговорил со мной о деле Дрейфуса. Поводом послужил Шекспир. С точностью передаю ход этой беседы.

Я спросил Толстого, много ли он работает, пишет ли он и что именно.

— Да, я много работаю, — ответил он. — Представьте себе, я составил нечто вроде недельного календаря, где для каждого дня недели я намечаю чтение на нравственные темы. Теперь моя идея расширилась, и я задумал составить целый календарь, где предложу чтение для каждого дня в году⁷⁶.

— Но ведь это гигантская работа!

— Да, и вы, конечно, понимаете, что мне не хватит времени для ее завершения. Но работа эта занимает меня. Она обязывает меня перечитать всех хороших писателей, и отчасти по этой причине я ее и затеял. Так, например, теперь я занят одним из ваших старых писателей XVI века — Ла Бюэси. Имеете ли вы представление о Ла Бюэси? Хорошо ли он известен во Франции?.. Он автор некоего «Рассуждения о добровольном рабстве». Это писатель глубокий и богатый мыслями, его изучение приносит чрезвычайно много пользы. Я очень люблю также вашего Монтеня, друга Ла Бюэси; он обладал таким оригинальным, живым, гуманным умом, проявившимся в столь же чистом, искусном, богатом оттенками языке... И Паскаля! Ах, Паскаль, вот писатель, что за ум, что за человек! Какое несчастье, что он сбился с пути во второй части своих «Мыслей» и что у

— 118 —

Comédie politique de l'année 1901

Floch (Vienne). — LE SAINT-SYNODE : Que la foudre du ciel vous frappe.
Tolstol : J'en ai précisément besoin pour faire éclairer les ténèbres russes

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 1901 ГОДА»

Сатирический отклик на отлучение Толстого от церкви

Подпись под карикатурой: «Святейший Синод: Да поразит вас молния небесная.

Толстой: Это как раз то, что мне необходимо, чтобы осветить русскую тьму»

Перепечатка из венского журнала «Floch» (во французском тексте опечатка). Вырезка из неустановленного французского издания

Личная библиотека Толстого. Музей-усадьба «Ясная Поляна»

него не хватило силы идти до конца!.. Да, это так, он испугался, он сам нагнал на себя ужас, церковное учение вновь овладело им, и он умер, не освободившись. Да, это была огромная потеря для человеческого разума...

Мэтр помолчал мгновение, как бы раздумывая. Затем он продолжал:

— Кроме этого «Календаря», я посылаю статьи в английский журнал. Я готовлю даже кое-что о нынешней войне ⁷⁷.

— Не собираетесь ли вы написать статью о Шекспире?

— Она уже закончена ⁷⁸.

— И мне говорили, что вы не очень-то щадите старого Уилла?

— Я говорю правду, вот и всё. Я высказываю то, что думали бы все, если бы все согласились размышлять и постарались составить себе серьезное мнение. Что может быть непонятней, парадоксальней, чем этот шум вокруг Шекспира, вокруг «гения» Шекспира! «Гений» Шекспира — это

одно из тех сложившихся суждений, которые никто не решается подвергнуть проверке, которые целые поколения принимают без возражений, а каждый повторяет не раздумывая. Наденьте-ка очки, посмотрите на это попристальнее, и вы увидите, что находитесь среди заговора глупости. По правде говоря, в Шекспире нет ничего, ровным счетом ничего.

— О, мэтр!

— Нет, нет, ничего. Его драмы — дурно изложенная история. Они вульгарны, лишены обобщений; характеры у него невыразительные, и все его творчество источает смертельную скуку. Однако никому до этого нет дела, а те, кто бы мог это высказать, — не решаются. И вдобавок, кто в наши дни по-настоящему знает Шекспира? Кто взял на себя труд серьезно изучить его? Кто теперь даже просто читает его?..

Я пытаюсь протестовать, но Толстой — самодержец в литературе, как и в вопросах морали; он и здесь не рассуждает, а констатирует; он констатирует «очевидную» глупость Шекспира, «очевидность» того, что его больше не читают, «очевидность» того, что никто не знаком с его творчеством; и он удивляется, что не каждый согласен признать эту очевидность.

Он продолжает тем же властным голосом:

— Да нет же, никто его больше не читает, и о нем говорят, как о давно уже установившейся, неоспоримой, вековой истине, как говорят о вращении земли! Уверю вас, что гений и слава Шекспира — это редкостный пример массового внушения. Пример этот, впрочем, не единственный; их полным-полно; они образуют стойкую массу людских предрассудков, но более типичного примера я не знаю. Каким образом вырабатываются подобные странные феномены? Причины их многообразны и трудно поддаются анализу. Одна из главнейших причин — это, конечно, воздействие прессы. Пресса, способная, впрочем, делать всяческое добро, способна и на дурное, и весьма любопытно наблюдать, до какой неправдоподобной степени она может влиять на общественное мнение. Она начинает с того, что убеждает самую себя — до известной степени автоматически — примерно так же, как люди, многократно повторяя одну и ту же мысль, в которую они верят лишь наполовину, кончают тем, что проникаются к ней твердой и искренней верой. Постепенно, возвращаясь по каждому поводу к той же теме, пресса, в конце концов, завоевывает внимание публики и убеждает ее в свой черед, и таким образом создает потоки общественного мнения, которые вскоре невозможно преодолеть. Когда кто-нибудь пытается это сделать, то даже если он человек правдивый и мудрый, его считают лжецом и любителем парадоксов. Таким-то образом, под личиной правды устанавливаются ложные представления, и — я повторяю — это не что иное, как колоссальный феномен внушения...

Сказав это, Лев Толстой тотчас же добавляет, без всякого перехода:

— Взгляните также на дело Дрейфуса. Кто хоть когда-нибудь сможет объяснить мне, почему весь мир проникся интересом к вопросу — изменил или не изменил своей родине еврей-офицер? Проблема эта имеет ничтожное значение для Франции, а для всего остального мира она совсем лишена интереса!

— В этом заключается лишь часть проблемы, а отнюдь не вся проблема <...> Этот частный случай приобрел характер социальной концепции.

— Я это прекрасно понимаю; но ведь перед нами вечная проблема. Нет такого момента в жизни человечества, когда она не могла бы встать с той же силой и наглядностью. Разве вы повседневно не видите во Франции, в России, у всех народов, во всех судилищах, что свободным существам отказывают в самом элементарном правосудии, что ни в чем не повинные люди становятся плачевными жертвами ошибок или пристрастия! А слышали ли вы когда-нибудь, чтобы кто-либо протестовал против

таких беззаконий? Предаются ли они хотя бы гласности? Нет, о них ничего не известно миру, бездушно давящему несчастных своей тяжелой стопой... Все вопросы, поднятые делом Дрейфуса, разве не приводят к одним и тем же выводам? Вы скажете мне об антисемитизме? Но и это не новый спор. Антисемитское беззаконие присуще не только Франции. Это подлое движение распространяется по всему миру. Но почему хотите вы, чтобы этот незначительный еврей-офицер, осужденный по ошибке, — это я охотно признаю — и, конечно, невиновный...

Графиня Толстая, молча слушавшая мужа, вмешалась здесь в разговор и спросила:

— Так он, в самом деле, невиновен?

Тогда Толстой, подняв на нее глаза, медленно отчеканил голосом, который внезапно приобрел строгость:

— Да, да, он невиновен. Это доказано. Я читал материалы процесса. Он невиновен, опровергнуть это теперь невозможно.

Я говорю:

— Записываю, мэтр, это заявление, но записываю его без всякого удивления. Я не сомневался, что услышу его из ваших уст. И как мог бы Толстой погрешить против истины? Но если Дрейфус невиновен, то можно ли оставлять его на каторге?

— Конечно, нет. Я хотел сказать не это. Я доискиваюсь причины, по которой невиновность одного человека разделила пополам Францию и взволновала весь мир.

— Потому что все увидели, как на него в припадке гнусного безумия обрушилась дикая, чудовищная банда.

— Пусть так, но почему именно на этого, на одного этого человека все набросились с таким бешенством?

— Вы выступаете с обвинительным актом против них, мэтр, а я ничуть не являюсь их адвокатом <...> Я пытаюсь объяснить, вследствие какого логического развития дело одного человека стало делом национальным <...>

Толстой внимательно слушает меня. Когда же я заканчиваю свои объяснения, он с прежним упорством продолжает задавать мне тот же вопрос:

— А я опять-таки спрошу вас, почему именно Дрейфус? Я все это понимаю. Но ведь здесь нет ничего нового. Что во Франции были реакционеры и либералы, хищный и лицемерный клерикализм — это было всем известно; что существовала армия, превратившаяся в касту, — можно было догадываться. Но чего я не могу понять — так это почему достаточно было военному суду ошибочно осудить еврея-офицера, чтобы последовали все эти разоблачения, которых могло и не быть.

Я решаюсь на новую попытку.

— Но разве миром управляет логика? <...> Разве для человеческого прогресса не имеет значения то обстоятельство, что великий народ сделал еще один шаг по пути к свободе?.. В таком случае, какое значение имеет пункт отправления? Надо смотреть лишь на то, к чему это привело. Вся суть именно в этом. Неужели вы отрицательно ответите на эти вопросы, мэтр?

— Я оспариваю именно то, что в этом заключается сущность вопроса. Вопрос в следующем: какое чудо смогло придать столь непомерные размеры судебному делу, в котором я отказываюсь видеть элементы, имеющие интерес для всего мира. Я вижу в нем лишь странный феномен всеобщего внушения, подобный тому, о котором я вам только что говорил. Дело Дрейфуса и дело Шекспира — различные проявления одной и той же болезни. И здесь и там в качестве главного организатора выступила пресса. Но и то и другое неверно и неумно. Вот почему я систематически

избегал высказываться по делу Дрейфуса. Меня всячески уговаривали выразить свое мнение. Я получал из разных стран горы писем; некоторые из них были написаны в повелительном тоне и напоминали ультиматумы. Ни на одно из них, ни на одно устное ходатайство я не ответил; в этом водовороте безумия я хотел сохранить хладнокровие и свободу воли, и должен признаться, что доводы ваши меня ничуть не поколебали.

Толстой продолжал:

— Подобные случаи внушения, несмотря на всю свою странность, постоянно встречаются в истории. Вот вам еще один. Как объясните вы, что в стране, где одновременно жили, например, Альфред де Виньи и другие поэты, до небес превозносят Бодлера и стараются выдать его за великого поэта? Не слишком ли далеко зашла эта шутка?.. Бодлер... Бодлер... Что вы говорите, это несерьезно!.. Но я не хочу вас огорчать и потому спешу прибавить: подобные нелепости можно встретить и у нас.

Мэтр называет мне имена нескольких русских писателей, восхваляет знаменитого Антона Чехова, который, пройдя блестящий творческий путь, именно теперь, когда я пишу эти строки, умирает от чахотки в сорокалетнем возрасте. Что касается других, то они еще живы, и я не повторю суждения о них строгого хозяина дома.

* * *

Толстой говорил со мной и о некоторых французских писателях. Г-н Октав Мирбо — один из находящихся в живых авторов, о которых он высказывается с особенно горячей симпатией.

Я спрашиваю Толстого:

— Читали ли вы его последнюю пьесу: «Дела — это дела»? ?

— Да, да, конечно, — тотчас же отвечает он. — Вот прекрасное и глубокое произведение! Да, Мирбо талантлив!.. Менее понравилась мне, однако, его другая пьеса... Как она называется?.. «Дурные пастыри»... Ее идея кажется мне не совсем ясной. Но первая вещь меня очаровала: она правдива, ярка, смела, основательна; характеры отчетливо обрисованы, живы и сильны; действие разворачивается быстро и увлекательно... Да, эта пьеса хороша, очень хороша!.. Однако я читал, что Мирбо иногда упрекали за развязку: насильственная смерть сына, вторжение инженеров в минуту крайнего отчаяния отца, спор о контракте в то самое время, когда вносят труп. Упреки эти мне непонятны, ибо, на мой взгляд, это сложное переплетение событий весьма удачно, именно в нем я вижу кульминацию пьесы. Разве Мирбо мог закончить ее, не проследив до конца судьбу своего героя и его воззрений? И разве портрет дельца был бы завершен, если б автор не показал нам его захваченным и опустошенным всепоглощающей страстью к аферам, которая мало-помалу целиком завладела им, одурманила и чудовищно искажила его исполненную трагизма личность. Она вытеснила из его сердца всякое стремление, всякую мысль, не имеющую отношения к его делам, все остатки человеческих чувств. Вот что составляет прелесть и силу этой развязки, и все, кто осудил ее, несомненно, ничего не поняли в пьесе.

— Разрешите ли вы мне сообщить об этом Мирбо?

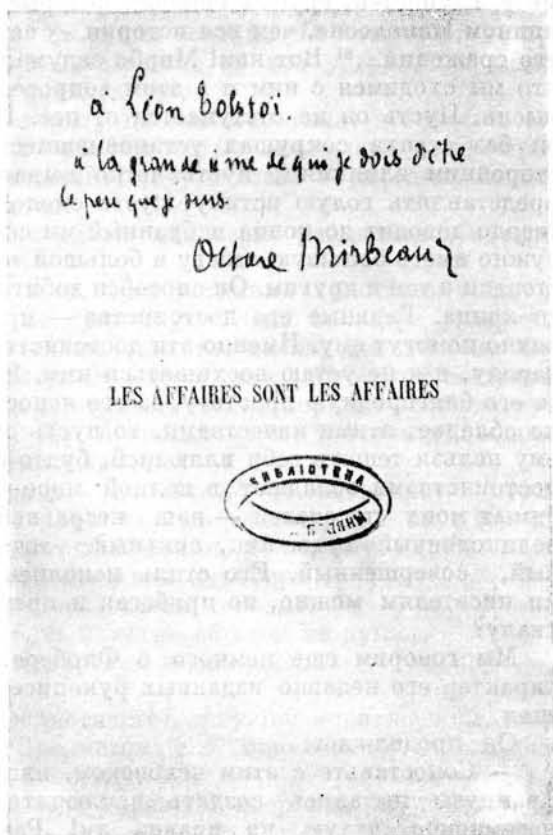
— Да, конечно, передайте ему это от моего имени и выразите ему мою дружескую симпатию, хотя я с ним лично не знаком. Я очень люблю его талант. В нем я нахожу одновременно нечто от Александра Дюма-сына и от Мопассана. Я читаю все его сочинения. Его «Дневник горничной» мне чрезвычайно понравился: это тоже очень сильная книга, и она полна глубокой гуманности. Не забудьте передать ему мои дружеские чувства и поздравления по поводу его пьесы.

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ОКТАВА
МИРБО НА КНИГЕ «ДЕЛА — ЭТО
ДЕЛА»

«Octave Mirbeau. Les Affaires
sont les Affaires. Paris, 1903):

«Льву Толстому, чьей великой душе
я обязан тем немногим, что собой пред-
ставляю. Октав М и р б о»

Личная библиотека Толстого.
Музей-усадьба «Ясная Поляна»



LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES



Я указываю на прекрасную классическую манеру, в которой выдержана пьеса «Дела — это дела», ее простую и гармоничную композицию, придающую этому произведению вид современной трагедии...

— Да, это совершенно справедливо, — прерывает меня Толстой. — И по развитию действия, и по стилю это произведение связано с великой французской традицией и может считаться одним из самых безупречных произведений вашей современной литературы.

* * *

Немного спустя разговор наш зашел о Наполеоне. Я сказал:

— Октав Мирбо заявил, что собирается написать пьесу о Наполеоне. И, по его собственным словам, он намерен изобразить в ней Наполеона-«глушца»⁸⁰.

Толстой удовлетворенно улыбнулся:

— Знаете, это ничуть не парадокс. Наполеону, несомненно, свойственны были редкие качества: энергия, упорство, активность, однако в умственном отношении этот полководец был довольно ограничен. Чтобы понять Наполеона, надо изучать его не в жизни, так как его жизнь представляла собой непрерывный мираж, и мы видим ее настолько слившейся с событиями, что трудно определить его истинную роль, — а по «Мемуариалу со Святой Елены». В них он намерен был показать всю глубину своей мысли. Имеете ли вы представление об этом «Мемуариале»? Я прочел его: какое поразительное убожество, нагромождение общих

мест, глупостей, грубых ошибок, которые больше свидетельствуют о подлинном Наполеоне, чем вся история — вероятно, фальсифицированная — его сражений...⁸¹ Вот как! Мирбо задумал воссоздать Наполеона? Я рад, что мы сходимся с ним и в этом вопросе... У него родилась прекрасная мысль. Пусть он не отступает от нее. Но передайте ему от меня, чтоб он без страха сокрушал установившиеся понятия, не поддавался посторонним влияниям; пусть четко выражает свою мысль и не боится представлять голую истину; пусть смело обрисовывает своего героя и твердо доводит до конца избранный им сюжет. Для такого произведения нужно иметь большую отвагу и большой талант. Мирбо обладает в редкой степени и тем и другим. Он способен добиться удачи, пусть же доведет дело до конца. Главные его достоинства — правдивость, сила и стиль — отлично помогут ему. Именно эти достоинства особенно свойственны вашему народу, и я не устаю восхищаться ими. Я люблю французское искусство за его благородную простоту, за его ясность и правдивость. Если человек не обладает этими качествами, то пусть он даже пишет на вашем языке, ему нельзя тепшить себя иллюзией, будто он писатель вашей расы. Этими достоинствами обладают в полной мере только французы. Один из любимых моих писателей — ваш несравненный Флобер. Вот поистине великолепный художник, сильный, точный, гармоничный, полнокровный, совершенный. Его стиль исполнен чистейшей красоты. Многим ли писателям можно, не прибегая к преувеличениям, воздать подобную хвалу?

Мы говорим еще немного о Флобере, и я разъясняю своеобразный характер его недавно изданных рукописей, о которых Толстой ничего не знал.

Он продолжает:

— Сопоставьте с этим человеком, например, вашего Доде, которому французы пытались создать исключительную репутацию. Репутацию, несомненно, дутую, не правда ли! Разве может Доде, серьезно говоря, занимать место среди виднейших деятелей такой великой литературы, как ваша? Доде — только посредственность, и в его произведениях сказалось скорее английское, чем французское влияние: перечитайте Диккенса, а потом поговорим о Доде для сравнения... И еще Х...⁸² Он, конечно, талантлив, но каким языком он пишет, боже мой, каким языком — небрежным и в то же время претенциозным, неуклюжим, торопливым. Нет, это не стиль...

Х. — наш современник, и я не причиню ему огорчения, назвав его имя.

* * *

Надвигался вечер<...> О чем размышлял Лев Николаевич? Он погружился в молчание. И я, предавшись своим собственным мыслям, не смел нарушить его задумчивой сосредоточенности.

Внезапно на деревянной лестнице послышались чьи-то шаги. Появился доктор⁸³, и, казалось, вместе с ним в дом ворвалось немного холода с улицы. Он приехал из Тулы. Воспользовавшись поездкой, он привез с собой почту: объемистый пакет с книгами, журналами, газетами, письмами. Лев Николаевич вскрывает телеграмму... она из русской газеты, которая запрашивает его мнение о войне.

— Вы себе представляете меня, сообщającego в русскую подцензурную газету, что я думаю о войне.

Он внимательно рассматривает адреса и вытаскивает большой конверт, тотчас же угадав, от кого письмо.

— Ага, — говорит он, — вот как раз письмо от Веригина, главы дубоборов!

Он читает письмо, замечая при этом:

— Видите, вот именно то, о чем я вам говорил. Все там обстоит прекрасно. Веригин — человек замечательный, он все устроил, и между духоборами и канадцами установился мир.

Когда Толстой отложил в сторону письмо Веригина, я спросил его:

— Считаете ли вы, что духоборы полностью воплощают ваши принципы личной и общественной жизни? Я хочу сказать — достигли ли они, по-вашему, полного совершенства?

Толстой смотрит мне прямо в глаза, мгновение размышляет и затем говорит серьезным тоном:

— Да, я вполне уверен в этом. Они истинные христиане. Они не убивают, не крадут, не лгут, не пьянствуют. Они не ведут распутной жизни. Они простодушны, не знают зависти, гнева, честолюбия. Они осуждают похоть и ненавидят насилие. Они делают добро. Они постоянно стараются побороть в себе влияние атаквистических пороков и достигнуть добродетели. Чего еще желать? Да, я вполне верю, что они воплощают образ освободившегося человечества.

— Позвольте мне, — замечая я, — поставить тот же вопрос с противоположной стороны. Если духоборы именно таковы, как вы о них думаете, то какой из народов в настоящее время, по-вашему, дальше всего отстоит от того идеала, которого достигли духоборы?

Толстой ищет ответа, колеблется, затем говорит:

— Не знаю. Нет, я не знаю. Я никогда об этом не думал.

— Нельзя ли назвать таким народом американцев?

— Почему же?

— Это народ чудовищно реалистичный, ищущий наслаждений, неизменно враждебный идеалу. Предметом его пламенного честолюбия, страстью его жизни являются деньги<...>

— Я отлично знаю, в чем всегда упрекают американцев, и знаю, что они в какой-то мере заслужили эти упреки. Действительно, деловой американец действует лишь ради денег, живет лишь во имя своих миллиардов. Но похож ли на него весь народ и можно ли взвалить на народ бремя ответственности за алчность имущего класса? Я сам знаю весьма «здравомыслящих» американцев — они честны, умны, лишены этих плачевных пороков. Я читал также сочинения американских писателей — например, Гаррисона; они, право, великодушны. В прошлом году нас посетил здесь г. Брайен, бывший кандидат в президенты⁸⁴. Это также «здравомыслящий» человек, у него широкие взгляды, обобщающий ум, великодушное сердце, но, к несчастью для своей родины, он провалился на выборах из-за своей финансовой доктрины... Нет, по совести говоря, нельзя так категорично высказываться об американской душе, которую мы так еще мало знаем.

Я сказал Толстому:

— Весь свет с восхищением прислушивается, мэтр, к вашим пламенным речам. Идеал мира, проповедуемый вами, отличается благородной красотой. Но...

Я приостановился, и Толстой, улыбаясь, сформулировал мою мысль:

— Но вы опасаетесь, что он неосуществим?

— Да. Его проповедовали великие апостолы — Конфуций, Будда, Иисус, Магомет, пророки и отцы церкви. Все мыслители — Платон, Сократ, Кант, Спиноза, Паскаль и сотни других, все поэты всячески старались содействовать прекращению насилия и воцарению справедливости... А каков же результат? Я вижу у народов постоянное стремление воевать, а человеческое сердце — если судить по своему собственному — всегда полно нечистых чувств!..

— Нельзя отрицать прогресс человечества. Я верю в человечество. Оно никогда не прекратит своего движения к правде и воплотится в добре.

— Через сколько терзаний предстоит ему пройти и в каком далеком будущем это произойдет?

— Какое значение имеет время? Человеческая эволюция — это неуловимое скольжение, почти не ощущаемое нашим разумом, но непрерывное и постоянно прогрессирующее. В то время как мы живем со дня на день, замечая лишь преходящие явления, но не постигая скрытого закона событий, человечество продолжает свой путь к свету истины — медленно, неуклонно, безостановочно. Нетерпение — вот наша ошибка. Мы судим обо всем по самим себе — по ничтожно малой частице, которую составляет наша жизнь. Подумаем-ка лучше о тысячелетиях, которые нам предшествовали; о тысячелетиях, которые пройдут после нас. Когда смотришь на мир с такой высоты — надежда вполне законна. Как отрицать человеческий прогресс? Если даже иметь в виду тот крошечный исторический отрезок, который составляет все наше прошлое, — какое смягчение нравов, какие заметные победы над первобытной животностью! Человек отменил пытки, отменил рабство — разве это пустяки? С каждым днем он понемногу освобождается. Теперь уже все согласны, что насилие гнусно. Вскоре все согласятся, что оно и бесполезно. Уже у всех на устах, если еще не в сердце, слова «справедливость», «братство», «милосердие». Мало-помалу наступит время окончательного расцвета.

— Прогресс весьма медлителен, а лес пороков, который должен быть выкорчеван, безгранично велик. Сколько же сотен столетий пройдет до того, как восторжествует добродетель, и не погибнет ли человечество при эволюции миров в самый момент своего возрождения?

— Быть может, и так!.. Но не будем думать об этом. Пусть идеал наш призрачен, что за беда? Но благороден ли он? Чист ли? Может ли он принести с собой и добро и истину? Согласен ли он с нравственным законом? Вот о чем следует себя спрашивать, и если можешь себе ответить *да*, надо проповедовать его неустанно и терпеливо...

...Высказав эти слова надежды, Толстой поднялся и ушел в свой рабочий кабинет; он взял с собой привезенную почту, чтобы спокойно ее просмотреть.

Графиня спросила меня:

— Он высказал вам интересные мысли, не правда ли?

И сразу же прибавила:

— Для нас они не новость. Он без конца об этом думает и часто говорит с нами. Или, вернее, говорит в нашем присутствии. Потому что, как вы видите, он любит беседовать и охотно вступает в спор; однако, когда мы остаемся одни, он замыкается в себе и погружается в размышления; необходимо чье-либо посещение, чтоб он прервал свое молчание!

Я кратко сообщаю графине о глубоком уважении, с которым вся мыслящая Франция относится к гению ее мужа, и упоминаю о триумфальном приеме, который был бы ему оказан Парижем, если б он согласился приехать.

— О, я в этом не сомневаюсь, — говорит она с живостью. — Но, впрочем, полагаю, что ему всюду был бы оказан отличный прием. Однако об этом не может быть и речи. Прежде всего, потому, что мой муж никогда не любил переезды и не склонен выставлять себя напоказ. К тому же, если б он и решил сейчас попутешествовать, я ему не позволила бы. Подумайте, какое утомление и в особенности какое волнение принесла бы ему поездка в Париж! Оказанная ему встреча могла бы быть губительной для его здоровья. Он чувствует себя хорошо — но только потому, что падает свои силы. Со времени крымского заболевания, когда состояние его сердца причинило нам столько волнений, он вынужден принимать

La Puissance des Ténèbres. 1.3¹



REPRODUCTION INTERDITE

LE PHOTO-PROGRAMME

«ВЛАСТЬ ТЬМЫ» НА СЦЕНЕ ПАРИЖСКОГО «СВОБОДНОГО ТЕАТРА»
 («THÉÂTRE LIBRE». 1888)
 ФОТОПРОГРАММА

Bibliothèque de l'Arsenal, Paris

некоторые предосторожности. Согласитесь, что подобная поездка — не для него.

— А вы сами, графиня?

— О, мне очень хотелось бы поехать. Но я не смею. Если бы в мое отсутствие случилась какая-нибудь беда, я чувствовала бы ужасную ответственность и не оправилась бы от этого горя. Напрасно я уверяю себя, что здоровье его восстановлено, что теперь можно не опасаться... Но что вы хотите? Я женщина... Такие чувства не подчиняются рассудку!..

* * *

Возвращается граф Толстой, держа в руке два-три журнала и роман одного молодого французского писателя. Он протягивает своей невестке какой-то журнал, обращая ее внимание на статью, которая должна ее заинтересовать, и показывает мне французскую книгу, назвав имя автора.

— Я вчера получил эту книгу... Имеете ли вы представление о г. Х.?

— Конечно, я знаком с ним и знаком с его романами.

— Он присылает их мне, — говорит Толстой. — Я прочел одну или две из его книг. Большого таланта у него нет, не правда ли? Это тщательно отделано, добросовестно, свидетельствует о трудолюбии, но не больше. У него нет того внутреннего горения, которое не дает оторваться от книги, вызывает интерес к ее идее⁸⁵.

И тотчас же прибавляет:

— Когда же, наконец, прекратится эта безумная страсть к сочинительству? Мы слышим жалобы, что книги больше не продаются, но это не совсем точно; дело лишь в том, что количество их с каждым днем возрастает, а число читателей почти не меняется; именно это и вызывает явление, которое несправедливо называют книжным кризисом. Количество получаемых мною книг невообразимо; мне ежедневно присылают их из разных стран; как можно надеяться быть в курсе всего, что выходит в свет? Если бы я даже проводил всю свою жизнь за чтением книг, то и тогда ее не хватило бы! Каков же результат? Результат тот, что теперь больше не читают. Книгу открывают, перелистывают, просматривают две-три страницы наугад и закрывают — вот и всё: подлинный вкус к чтению книг утрачен. Испытывали ли вы когда-либо тот особый гипнотизм, который исходит от напечатанной книги? Вы получаете сочинение, открываете его и бросаете взгляд на случайно подвернувшуюся страницу. Вы читаете первую попавшуюся фразу, затем другую. Эти фразы, оторванные от целого, не имеют для вас никакого смысла. Они совершенно лишены значения, они не говорят ни за, ни против автора. И тем не менее они тотчас же создают настроение, которое выливается в симпатию или антипатию. Словно у книги есть душа и душа эта внезапно приоткрылась перед вами. И тогда-то вы либо прекращаете чтение книги и закрываете ее навсегда, либо, напротив, испытываете бессознательное любопытство, желание побольше сблизиться с автором, книги и продолжаете чтение. Вы продолжаете его с того места, на котором остановились, но не вперед, а назад. Вас интересует вначале не продолжение тех двух фраз, на которые вы случайно наткнулись, а то, что им предшествует. Вас меньше занимают следствия, чем причины. И так от страницы к странице, если интерес не угасает, вы доходите до начала; затем, добравшись до первой строки, вы снова принимаетесь за свое чтение, на этот раз совершая в обратном порядке проделанный вами путь, и теперь уже добираетесь до конца. Это весьма неразумная манера читать книги, и ее трудно оправдать, но я часто замечал на самом себе, что поддаюсь ей... Вот каким образом ныне читают; руководствуются не свободным выбором разума, а тайными влияниями, которые вызваны случайными причинами и зависят от часа, от временного расположения духа, от досуга, которым обладаешь. Виною этому — невероятное злоупотребление, от которого страдают все, — мания сочинительства, представляющая собой гангрену современной литературы: возможно ли, в самом деле, чтобы все, кто пишет, искренно верили, что им есть что сказать?..

* * *

Граф Толстой во время разговора шагал по комнате; затем он подсел к круглому столу, за которым незадолго до того сидела графиня со своей невесткой, — мы снова оказались одни.

Он проводит ладонью по лбу, по глазам жестом, свидетельствующим об утомлении. Я спрашиваю, не болен ли он?

— Нет, — говорит Толстой, — я чувствую себя хорошо. Но вот уж несколько дней, как я переутомлен. Вечерами, после дня работы, у меня иногда бывают легкие головокружения.

Затем он добавляет с сильно удрученным видом:

— Ах, как это скучно! Надо «быть готовым к тому, что ослабеешь, надо быть готовым к смерти!..» Я чувствовал ее так близко от себя, я уже примирился с нею два года тому назад! Я был уверен, что все уже высказано, что дело кончено, что колокол уж отзвонил... Но это была ошибка... Я казался себе старой телегой, съехавшей в канаву и увязшей в грязи; ей осталось еще чуть-чуть скользнуть, чуть-чуть наклониться — и она

опрокинется, и все будет кончено, и меня не станет; я примирился с этим и не испытывал ни малейшего сожаления... И что ж, зачем-то сочли нужным прийти на выручку этой старой разваливавшейся телеге, ее стали насильно тянуть назад, вытащили из канавы и постарались снова поставить прямо. И вот я перед вами... И весь этот спуск, это падение мне предстоит когда-нибудь, и очень скоро, проделать снова, и меня ждут новые страдания, новое сопротивление, новые огорчения... Как это скучно!

Старый мэтр говорит все это с улыбкой, почти смеясь. Весь трагизм его слов сейчас ощущаю только я. Он говорит о своей смерти так, как, вероятно, рассказал бы о поездке в санях по раскисшей от оттепели дороге. Пусть же он улыбается смерти; смерть робеет перед тем, кто встречает ее с радостью. В положенный час она встретит здесь веселое лицо, и бесстрашное сердце, и жизнь, подобную созревшему плоду, которая безбоязненно отделится от своей земной оболочки. Безмятежность философа, размышляющего о причинах и следствиях. Успокоенность мудреца в сгущающихся сумерках его судьбы <...>

* * *

Вечер проходит. Пробило одиннадцать. Я спрашиваю, в котором часу отходит поезд на Тулу.

— Нет, нет,— говорит граф Толстой,— проведите с нами вечер до конца. Идет снег, на дворе холодно, и ночь так уныла. Ваш отъезд будет мрачен. Я не хочу, чтобы вы покинули наш дом под унылым впечатлением. Переночуйте у нас, постель вам уже приготовлена, и завтра утром, если вам угодно, вас на санях отвезут в Засеку.

Возвратившаяся в столовую графиня также любезно настаивает на этом, и я соглашаюсь — решено, что я проведу ночь в Ясной Поляне <...>

Полночь. В этот час Толстой обычно удаляется, завершив свой день. Он встает, протягивает мне свою широкую руку и с улыбкой, освещающей его могучее и благородное лицо, говорит мне:

— Быть может, если вы уедете завтра утром, мы с вами уже не увидимся; потому что я обычно встаю не очень рано. Итак, до свидания. У вас, кажется, есть поговорка, гласящая, что гора с горой не сходится. Мы не горы, и мне хочется, чтобы с нами вышло иначе; надеюсь, что еще увижу вас здесь. Вы всегда будете у нас желанным гостем.

Когда он сжал мне руку, душа испытала сильнейшее потрясение. Этот чудесный день прошел, как мгновенный сон. Он кончается, но как хотелось бы мне задержать его, пока он еще не превратился в минувшее.

Я молча смотрю на мэтра, жадно и простодушно стремлюсь впитать в себя пламя его глаз, сияние его гения. Понимает ли он в эту минуту мое страстное волнение, мое горячее чувство и отчаянное бессилие остановить то, что мне хотелось бы удержать и сохранить в глубине моего сердца?

Он стоит неподвижно, глаза его устремлены в мои глаза, и этот человек в серой блузе, просунувший большой палец за кожаный пояс, склонивший свое ясное чело, кажется мне бесконечно благородным, бесконечно великодушным, бесконечно великим <...>

Толстой делает последний прощальный жест и размеренным, степенным шагом уходит в свою комнату.

На следующее утро я покидаю Ясную Поляну.

Безрадостный отъезд. У порога меня ожидают сани. Восемь часов, уже давно занялся день, но ночь отступает неохотно. Небо свинцового цвета, тусклое и тяжелое, и можно подумать, будто это сероватое мрачное небо не рассеивает свет, а впитывает его в себя из земли, окутанной снегом <...>

Давно уже домик мудреца исчез в тумане. Но и сквозь туман сверкает яркий свет, свет его разума, гораздо более сильный, чем ночной мрак.

РЕНЕ МАРШАН

Одним из последних французских посетителей Толстого был парижский журналист, сотрудник «Figaro» Рене Маршан (1888—1963), специально направленный в Ясную Поляну редакцией этой газеты для получения интервью.

2 января 1910 г. Толстой записал в своем дневнике:

«Приехал француз Marchand. Говор(ил) с ним горячо, отвечая на вопросы <...> Обычный вечер и француз» (т. 58, стр. 3). В письме к В. Г. Черткову, написанном в тот же день, Толстой охарактеризовал Маршана как «очень милого молодого человека, знающего по-русски» (т. 89, стр. 166).

Комментатору дневников Толстого осталось неизвестно, о чем столь горячо говорил писатель со своим французским собеседником. Между тем 22/9 июля 1910 г. в газете «Figaro» был напечатан подробный отчет Маршана о его поездке в Ясную Поляну, дающий более или менее полное представление о содержании бесед с ним Толстого. Отмечая «поразительную ясность мысли», сохранившуюся у престарелого писателя в последний год его жизни, и «чудодейственную точность языка», Маршан подробно изложил высказывания Толстого как по социальным вопросам, так и по вопросам политическим и эстетическим. В 1949 г. Маршан выпустил в г. Мехико на французском языке книгу «Литературные французо-русские параллели», в которой он также вспоминал о Толстом.

ДЕНЬ У ГРАФА ТОЛСТОГО

...Он говорит со мной о современной литературе, о том, как обычно понимают искусство, и, касаясь излюбленной темы своих раздумий, вскоре же, с поразительной ясностью мысли и чудодейственной точностью языка, проникает в труднейшую область умозрений отвлеченной философии, которым он теперь посвящает все свое время и силы.

ROMANS ÉTRANGERS MODERNES

Comte LÉON TOLSTOÏ

DERNIÈRES
NOUVELLES

Traduites par madame ELÉONORE TSAKNY

Avec un portrait de l'auteur par M. THÉOPHILE BARRÉTTA



PARIS

NOUVELLE LIBRAIRIE PARISIENNE

18, RUE DROUOT 18

1887

Tous droits réservés.

ФРАНЦУЗСКИЙ СБОРНИК РАССКАЗОВ ТОЛСТОГО (ПАРИЖ, 1887)

Титульный лист

Личная библиотека Толстого.
Музей-усадьба «Ясная Поляна»

ТОЛСТОЙ

Литография французского художника
Теофиля Беранжье. 1886

Фронтиспис книги: Comte Léon Tolstoï.
Dernières Nouvelles. Paris, 1887

Личная библиотека Толстого
Музей-усадьба «Ясная Поляна»



Он видит слабость нашей эпохи в забвении религиозных верований и с каждым днем все более заметном исчезновении того, что он называет *религией*, которую рационалистически определяет как «понимание отношений, устанавливающихся между личностью и *Всеобщим*». Именно из этой *религии* и проистекают те нравственные принципы, без которых человек не может совершенствоваться. И самый разительный признак исчезновения этих нравственных принципов Толстой видит в разделении человечества на два совершенно обособленных друг от друга класса: *богатых* и *бедных*. Только второй класс, который он называет *миром*, представляет подлинную жизнь и труд; и *искусство*, достойное этого названия, не может существовать вне этого великого мира.

Эту элементарную истину, однако, многие литераторы, художники, музыканты с каждым днем, по-видимому, всё более забывают и стараются в своих неизбежно *декадентских* сочинениях угодить, напротив, лишь крохотному классу общества. Вот почему ложно понятое искусство имеет тенденцию ограничиваться все более и более узким кругом и становится игрой ума, лишённой значения и пользы для человечества; и, выделив имена Виктора Гюго, у которого Толстой особенно ценит «Бедных людей»⁸⁶, Дюма-сына, Генри Джорджа, Пушкина (одного из любимейших своих поэтов) и отведя совсем особое место Анатолию Франсу, истинным шедевром которого он называет душераздирающую историю «Кренкебиль», Толстой твердо выражает свою веру в будущее: «У человечества начинается пробуждаться самосознание, и в этом заключается значительный прогресс. Я ежедневно получаю письма от неизвестных корреспондентов из Японии,

Индии и часто чувствую с ними гораздо более тесную духовную близость, нежели со своими соотечественниками».

Не считая себя оптимистом и сурово осуждая бессилие Думы, Лев Толстой с удовольствием констатирует, что с недавнего времени даже в России проявилось очень сильное умственное движение среди крестьян. «Никогда, — говорит он, — я не смел на это надеяться; но, однако, теперь я получаю письма, где, несмотря на грубые орфографические и грамматические ошибки, нахожу глубокие и справедливые мысли и вижу то разумное понимание соотношения личного и *Всеобщего*, без установления которого человек роковым образом может жить только изо дня в день, не зная даже, зачем он живет и к чему стремится. А между тем вся жизнь человека заключается лишь в двух словах: *нравственное совершенствование*; у нее нет иной цели, иного смысла. В самом деле, воля человека повсюду натывается на препятствия, останавливающие его движение вперед; только на пути нравственного совершенствования человеческая свобода бесконечна, безгранична...»

Беседа продолжается еще долго; Толстой говорит с жаром; он выражает свою незыблемую веру в прогресс человечества и глубокое убеждение, что, несмотря на все заблуждения искусства и науки, которым ошибочно придается слишком большое значение и которым власть имущие стараются навязать новые догмы, предназначенные заменить догмы поколебленных религий, прогресс этот не может пойти вспять, и человечество продолжит свое движение вперед, несмотря на трудности нынешнего времени, «когда прогресс кажется весьма сомнительным, особенно если вспомнить античные цивилизации, которые достигли столь блестящего развития и породили столь мощных гениев».

Вблизи великого мыслителя, которого я слушаю сосредоточенно и восторженно, часы проходят — увы — с поразительной быстротой, и вот уже пора прервать эту увлекательную беседу. Граф выходит в парк, чтобы совершить свою ежедневную прогулку верхом, затем до вечера будет отдыхать. Он провожает меня в комнату на нижнем этаже, которую велел приготовить и где советует мне отдохнуть с дороги.

Вечером, в шесть часов, мы снова собираемся у большого гостеприимного стола.

Толстой, оживленный и веселый, усаживает меня рядом с собой и много говорит о Франции, о ее литературе и театре, к которым питает большую, нескрываемую любовь и за развитием которых наблюдает с живым интересом.

Затем он передает мне четыре первых листа своего сборника мыслей, предназначенного для ежедневных размышлений, остальные девять листов еще не были разрешены цензурой.

Ясным и сильным голосом, отчетливо произнося слова, Толстой прочел нам сам те мысли, которые записаны под сегодняшней датой — 2 января: письмо Дюма-сына, переведенное им восхитительно точным и сильным языком, афоризмы Шопенгауэра и собственные философские размышления. Затем, пока внучка его рассказывала какую-то народную сказку, Толстой сел играть в шахматы, его любимую игру, с Дмитрием Олсуфевым.

Десять часов вечера. Граф Толстой приказал запрячь сани, которые должны отвезти меня на крошечную станцию Засека — самую близкую отсюда, километрах в пятнадцати. Я взволнованно прощаюсь с моими хозяевами и с чувством сожаления, смешанного с грустью, переступаю порог этого жилища, исполненного старинной простоты, где так сладко было на несколько мгновений позабыть о лихорадочной и часто бесплодной деятельности нашего стремительного века.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Revue des Etudes Slaves», t. XIX. Paris, 1939, p. 212 (некролог Лерпа).

² Jules L e g r a s. Au Pays Russe. Deuxième édition. Paris, 1900, p. 191—194.

³ «Письма о России» («Lettres de Russie») Лерпа печатались в «Journal des Débats» в 1892 г. под инициалами J. L. В них описывались голод и эпидемия холеры в Нижнем-Новгороде.

⁴ «Берлинский очерк» Лерпа «Athènes de la Sprée» («Афины на Шпрее»), вышедший в свет в Париже в 1892 г. под псевдонимом Люк Жерсаль, пользовался огромным успехом у французских и иностранных читателей и выдержал во Франции пять изданий.

⁵ Сергей Александрович Рачинский (1836—1902) — известный деятель в области народного образования, организатор сельской школы в селе Татеве (Смоленской губ.), автор книг «Заметки о сельских школах» (СПб., 1883), «Из записок сельского учителя» (СПб., 1889), сборника статей «Сельская школа» (М., 1894) и др. Николай Михайлович Горбов — педагог, автор книг «Русская история для начальных школ» (М., 1883), «Задачи русской народной школы» (М., 1887) и др. Александра Алексеевна Штевен (1865—1933) — педагог, автор книги «История одной школы (Из записок сельской учительницы)» (СПб., 1894).

⁶ Книга В. Г. Короленко «В голодный год» вышла отдельным изданием в Петербурге в 1893 г. До этого составляющие ее очерки публиковались в «Русских ведомостях» и «Русском богатстве».

⁷ В «Au Pays Russe» Лерпа охарактеризовал Короленко как «одного из перво-классных русских романистов и человека высокого интеллекта, энергичного, честного и доброго» (J. L e g r a s. Au Pays Russe, op. cit., p. 34—35).

⁸ Об этом эпизоде, связанном с публикацией во Франции статьи «Неделание», см. в письме Толстого к редактору «Revue des Revues» Ж. Фио от 10 декабря 1893 г. и в комментариях к этому письму (т. 66, стр. 441—443). Своим парижским «поверенным в делах» Толстой называет здесь переводчика И. Д. Гальперина-Каминского.

⁹ Лерпа намекает, по-видимому, на того же И. Д. Гальперина-Каминского, переводы которого пользовались во Франции весьма незавидной репутацией.

В начале 1894 г. Гальперин-Каминский был командирован французскими писательскими и художественными организациями в Петербург и Москву для пропагандирования литературной конвенции между Францией и Россией. Приехав в Москву в феврале, он познакомился с Толстым и неоднократно посещал его дом. Беседы с Толстым он подробно изложил в своих воспоминаниях «У Толстого», напечатанных в парижском журнале «Revue Illustrée», 1898, № 23 от 15 ноября и 1901, № 11 от 15 мая.

Приводим наиболее интересные отрывки из этой публикации, оставшейся вне поля зрения советских исследователей Толстого, несмотря на свой исключительный интерес. Приведенная автором воспоминаний неизданная запись, сделанная Толстым в альбоме Жени Гальпериной-Каминской, не вошла в собрания его сочинений.

«...Толстой приближается ко мне твердым шагом; походка его непринужденна. Я вижу его высокий, изборожденный морщинами лоб, крупный нос, упрямый рот; волосы и борода его сильно посеребрены. Фотография 1893 года, самая последняя (мэтр любезно принес мне одну карточку) — довольно точно передает его нынешний облик. И только, когда Толстой, внимательно всматриваясь в меня, с дружелюбным приветствием подходит ко мне поближе, я вижу его небольшие глаза, мало заметные издали под густыми бровями, — глаза, которые, не впадая в банальность, можно поистине назвать зеркалом души. В них до конца отражаются все ощущения — вплоть до тех, которые условная вежливость порой заставляет нас скрывать. Когда взгляд его становится вдумчивым, испытующим, изменчивая, сероватая синева его глаз густеет почти до черноты; в редкие минуты негодования взор его отсвечивает холодной сталью, но чаще всего сохраняет свою лазурную ясность, свидетельствуя о невозмутимом течении мысли Толстого.

Зато голос этого великого правдолюбца всегда звучит ровно и уверенно, никогда не повышается: существует только одна истина, и она неоспорима, нет смысла навязывать ее силой слова. Разглагольствует, декламирует, горячится тот, кто отстаивает суетные, лишние реальной основы взгляды. Мэтр сознается мне в этом самым естественным образом: „Я говорю все правду и делаю это не только из сознания своего человеческого долга, но и потому, что я единственный человек в России, имеющий возможность свободно высказываться. Этим я пользуюсь и для своих книг и даже когда пишу царю; если я и не получаю ответа, то, во всяком случае, знаю, что письма мои доходят по назначению; быть может, они когда-нибудь и окажут свое действие — ведь царь, как и все другие люди, наделен разумом и душой“.

...В первый вечер беседа наша не могла быть продолжительной. Суббота — приемный день, и явилось множество посетителей. Среди них я встретил профессора Грота <...>, г-жу Фет; мне удалось также познакомиться с семьей Толстого <...> Беседа вокруг самовара ни на минуту не теряла своего интереса, ее постоянно оживляли реплики наших хозяев. Разошлись мы в полночь <...>

Назавтра я снова навещил Толстого; приходил я и в последующие дни, в разные часы. Мне довелось слушать Толстого в его кабинете, в общей гостиной, на прогулках; и я собрал воедино его высказывания, записывая их каждый вечер <...>

Не хотите ли, прежде всего, ознакомиться с одной его неопубликованной мыслью?

„Je souhaite avant tout à la petite Eugénie de savoir pourquoi elle vit sur la terre et d'accomplir la mission même pour laquelle elle a été envoyée sur cette terre“.

«Я прежде всего желаю Женечке узнать, зачем она живет на земле, и выполнить именно то назначение, ради которого она была на эту землю послана».

Нужно ли добавлять, что назначение это заключалось в том, чтобы возлюбить ближнего как самого себя?

Во время моих бесед с Толстым мы касались также предметов, не столь непреложных, — вопросов, тесно связанных с современностью; тем не менее они не потеряли и долго не потеряют своего интереса. Таковы, например ужасные деяния анархистов, к которым снова привлечено всеобщее внимание после убийства императрицы Елизаветы <...>

Толстой никогда не откликается на посвященные ему критические статьи и газетные нападки, ибо они почти всегда поверхностны и чаще всего принадлежат перу претенциозных писак. К тому же, что можно найти нового даже у самых уважаемых современных писателей, что можно найти такого, что не высказывалось ранее и не повторялось на протяжении целых столетий? Однако серьезная, свежая мысль, здравое рассуждение, найденные Толстым в старой литературе, могут оказывать влияние на его собственную мысль и содействовать изменению его первоначальных убеждений. Прислушиваться же к необоснованным мнениям, к разным, скорее смехотворным, чем коварным, намекам, знакомиться со всем, что пишут о его книгах и о нем самом, — это в его возрасте — пустая трата времени, которого ему уже и так остается немного. Впрочем, любой ответ на подобные нападки только преувеличивает их значение; когда же от них отмалчиваешься, они быстро забываются. Правда, как говорит народная мудрость, от клеветы всегда что-нибудь да остается. Но чем больше обиженный возражает и чем больше он вызывает новых обсуждений, тем глубже клевета врезывается в память людей.

«Знаете ли вы происхождение французской поговорки о клевете? — спросил меня Толстой. — Какой-то француз нашел сто тысяч франков и возвратил их владельцу. Все тотчас принялись обсуждать — что заставило его отдать эти деньги; вскоре пришли к выводу, что он нашел двести тысяч и половину утаил. Несчастный счел своим долгом доказывать, что действовал как честный человек; однако в результате клевета распространилась еще шире. Когда же в час нужды он стал добиваться места, на которое имел право рассчитывать, министр, приняв его прошение, вспомнил историю со ста тысячами и наотрез отказал ему.

Хотите, я приведу вам случай из моего личного опыта? Когда Катков надумал издавать „Русский вестник“, он попросил меня и Тургенева о сотрудничестве в нем и добился нашего согласия. Вскоре и Некрасов предложил нам обоим, а также Островскому и Григоровичу участвовать в его журнале. Мы согласились, хотя, по словам Каткова, Тургенев якобы обещал „Русскому вестнику“ свое исключительное сотрудничество. Вам известен уступчивый характер автора „Записок охотника“, он никогда не мог отказать новым журналам если не в деятельном сотрудничестве, то хотя бы в поддержке своим именем. Катков же увидел в этом „гнусный поступок“, о чем и пропечатал в своей газете. Возмущенный этим утверждением, я написал Каткову, чтобы напомнить ему о предупредительности и доброте Тургенева, готового оказать бескорыстную помощь всем, кто его об этом попросит; я сказал, что Катков ошибается, приписывая своему сотруднику иные побуждения, и просил его напечатать мое опровержение. Катков, согласившийся выполнить мою просьбу, снабдил мой ответ такими комментариями, что я поспешил остановить публикацию своего письма, чтобы предотвратить их появление в печати. Вот вам и польза от ответов.

Толстой и сам неоднократно являлся мишенью для недетских высказываний — между прочим, и со стороны одной французской газеты — как раз в то время, когда я находился в Москве. Какой-то русский журналист опубликовал интервью с матром, приписав ему по поводу панамских дел довольно резкие высказывания, направленные против Франции. Газета „Figaro“ воспроизвела их с суровым осуждением. Толстой ни за что не хотел писать опровержения в петербургский орган и ответа на упреки французской газеты.

«Совсем напротив, — заявил он в беседе со мною, — французский народ мне чрезвычайно симпатичен. Я только намекнул на правящие классы, желая напомнить, что при республиканской форме правления во Франции, как и в Америке, растраты общественных средств столь же распространены, как и в монархических странах, и что как там, так и здесь необходимо в корне изменить всю общественную систему, а не начинать с нападок на ее печальные следствия».

Другим поводом для высказывания Толстого послужила недавняя публикация русского перевода знаменитой книги Макса Нордау „Вырождение“. Автор утверждал

в ней, что „толстовство“ — одна из разновидностей нашего вырождения и что поиски смысла жизни — одно из его проявлений. Выслушав несколько мест из главы, в которой речь шла о нем, Толстой сказал мне:

«Это претенциозные, якобы научные разглагольствования о вещах чрезвычайно простых. Каждому человеку известны побудительные причины его поступков. Вот мы с вами ведем задушевную беседу, у нее есть причина. Она могла бы быть враждебной, и это тоже имело бы свою причину. Не только человеку, но даже мухе известно, зачем она живет: у нее есть свой идеал насекомого. Человеком же во всех его действиях руководит вопрос о смысле жизни, и он находит смысл, когда спрашивает себя, — зачем он живет... Стоит ли, однако, в нескольких словах повторять то, что я уже многократно высказывал во всех подробностях? Бесполезно приводить снова и снова свои доводы критикам, даже самым серьезным; мне никогда не удалось бы довести до конца эту полемику, а тем, кто столь упорно цепляется за свои заблуждения, она не принесла бы и малейшей пользы.

Если я сегодня говорю с вами об этом, — добавил Толстой, помолчав, — то только потому, что мы дружески беседуем и это доставляет вам удовольствие; вообще же я не люблю отвечать на вопросы — ни прямо, ни — еще менее — во время интервью. Я этого и не скрываю от журналистов, когда они приходят ко мне — интервью почти никогда не передают глубину и форму мыслей, которыми обмениваешься: вздорные мысли не стоят того, чтобы их обнародовали, а серьезные требуют размышления от того, кто их высказывает, а от того, кто их выслушивает, — подготовленности. Когда я пишу, я тщательно обдумываю свой труд, старательнейшим образом перерабатываю его, многократно исправляю. С какой же стати должен я, отдавая в печать свои мысли, прибегать к посреднику, которого я не знаю, без уверенности, что меня правильно истолкуют? Интервью, о котором мы говорим и на которое я по слабости характера согласился, еще раз свидетельствует о том, насколько это ненужно.

К тому же мне противно выступать в роли оракула, а те, кто слишком много занимаются моей особой, оказывают мне дурную услугу: видят ли, как ни борюсь я в себе с тщеславием, они ему льстят, льстят одному из тех скверных чувств, от которых я давно стараюсь избавиться. Именно в этом и заключается главная причина моего отказа от чтения газет».

Другая причина неприязни Толстого к газетам, — это то „вредное, временами пагубное дело“, которое они совершают. Успех газет основывается, главным образом, на несчастях, позоре, дурных страхах. Чем ужасней, чем распространяющей описываемые беды, тем лучше распродается газета. Начинается война: тысячи погибших, вдов, сирот, разорений; народы впадают в нищету, все страдают, а для газет — это время умножения доходов, воцеленная минута. Более того, этого рода бедствия зачастую вызываются именно газетами, разжигающими ненависть между народами, племенами, религиями, группами, отдельными людьми. Для газетчиков все средства хороши, лишь бы возбудить нездоровое любопытство толпы и продать ей свои листы бумаги: убийства, массовые и индивидуальные, скандалы, государственные и семейные, увечья, телесные и моральные. Конечно и тут, как во всем, бывают исключения, но они слишком редки, чтобы изгладить зло, причиняемое общим правилом.

Мне остается еще сообщить мнение Толстого о некоторых французских писателях. В это время он держал корректуру своего очерка о Ги де Мопассане; мэтр признался мне, что его огорчает необходимость осуждать тенденции автора „Жизни“. Ставя талант Мопассана выше таланта Бурже и даже Золя и Доде, Толстой находит, что он пишет как художник только тогда, когда выставляет перед нами животные инстинкты человека: сладострастие, чувственность. То же у Анатоля Франса, чьи привуазные рассказы правдивы и естественны, тогда как его описания жизни святых манерны и фальшивы. Хорошо описывать можно только то, что сильно любишь. Мы видим это же у Эмиля Золя. Его лучший роман — „Земля“; портреты крестьян, картины сельской жизни написаны превосходно. Но автор слишком часто заставляет своих персонажей предаваться сладострастным помyslам; разве можно сравнивать крестьянина, работающего с утра до вечера, к бездельнику, у которого обильная пища и крепкие вина возбуждают обжорство и похоть?.. В то же время я не считаю ни безразличным, ни грязным описание, например, персонажа, прозванного Иисусом Христом, который часто издает неблагопристойный звук, — по-моему, это только комично.

Среди молодых писателей, которых Толстой читает с удовольствием, следует назвать Эдуарда Рода и Поля Маргерита; из произведений первого он, впрочем, больше ценит философские этюды и литературно-критические статьи, чем романы. Великими, искренними поэтами были Виктор Гюго, Дюма-отец, а в наши дни — Сюлли-Прюдом. Особенно поразило автора „Власти тьмы“, что он встретил единоверца в авторе „Дамы с камелиями“. Толстой прочел все предисловия и брошюры Дюма-сына и находит, что они гораздо значительней, чем все пьесы, послужившие для них поводом. „Мужчина-женщина“ — одно из лучших произведений о нравственности. Дюма — истинный художник, ибо выражает чувства, которые извещал сам; еще больше он философ — по

широте своих взглядов, по ясности и откровенности, с которыми затрагивает социальные и психологические проблемы. Толстого привлекает этот близкий ему интеллект и, пробежав мои заметки о частной жизни Дюма в „Revue Illustrée“, он с удовлетворением констатирует, что между ними существует своего рода единство чувств.

Беседа переходит на „декадентов“ — писателей, „у которых искусственные уловки заменяют подлинную наблюдательность“. Толстой в своем труде „Что такое искусство?“ посвятил им впоследствии длинную главу, поэтому нет смысла повторять здесь его мнения о них. Я ограничусь только тем, что приведу одну подробность, отсутствующую в упомянутом томе, — а именно: Толстой причисляет к „декадентам“ „криптодекадентов“, т. е. к явным декадентам еще и декадентов скрытых. Первые не опасны, так как изображаемые ими ощущения и туманный язык слишком необычны, чтобы быть понятыми публикой. Что же касается „криптодекадентов“, то они находят формы, способные производить чисто физические, внешние и отнюдь не нравственные впечатления, причем это формы художественные, что усиливает их зловерное действие. Многие современные романисты и драматурги вышли из этой школы.

Я завершу свой отчет о беседах с Толстым в Москве его высказываниями по поводу моей русской брошюры „Общая польза авторского права“ — этот вопрос связан столько же с литературой, сколько и с моралью, в особенности, если его рассматривает такой человек, как Толстой <...>

— «Прежде всего следует отличать интеллектуальное право от права материального, — сказал он. — Автор, вне всякого сомнения, должен оставаться хозяином формы, которую он счел необходимым придать своей мысли. Отсутствие этой гарантии приводит к произвольным переделкам, искажениям текстов, и автору порой приписывают совершенно противоположное тому, что он хотел высказать. Могу заметить, что я часто испытывал на собственном опыте порочность этого положения. С другой стороны, однако, автор не должен извлекать из своих произведений других материальных выгод, кроме тех, которые необходимы для его существования. Вообще литератор, художник, врач, адвокат и т. п., каждый работник умственного труда, не имеют права рассматривать свою деятельность как средство для приобретения предметов роскоши. „Да, это роскошь, заметил Толстой, указывая на гравюры „Revue Illustrée“, изображающие внутреннее убранство дома Дюма-сына в Марли. — Моя жена также нехорошо поступила, заработав на моих романах более ста тысяч рублей. Если бы мне пришлось жить своим литературным трудом, я согласился бы лишь на заработок, обеспечивающий мне и моей семье самую скромную жизнь. Утверждения, что для творчества необходимы комфорт, развлечения — это только фразы, вздор. Стола, стула, керосиновой лампы вечером вполне достаточно для того, чтобы написать шедевр. Теперь же все, кто может, стараются жить в роскоши. Однако личности, которые, ссылаясь на отсутствие конвенции, пытаются извлечь из этого выгоду только для себя, также поступают дурно; это все равно, что не платить долгов, воспользовавшись тем, что от вас не потребовали расписки».

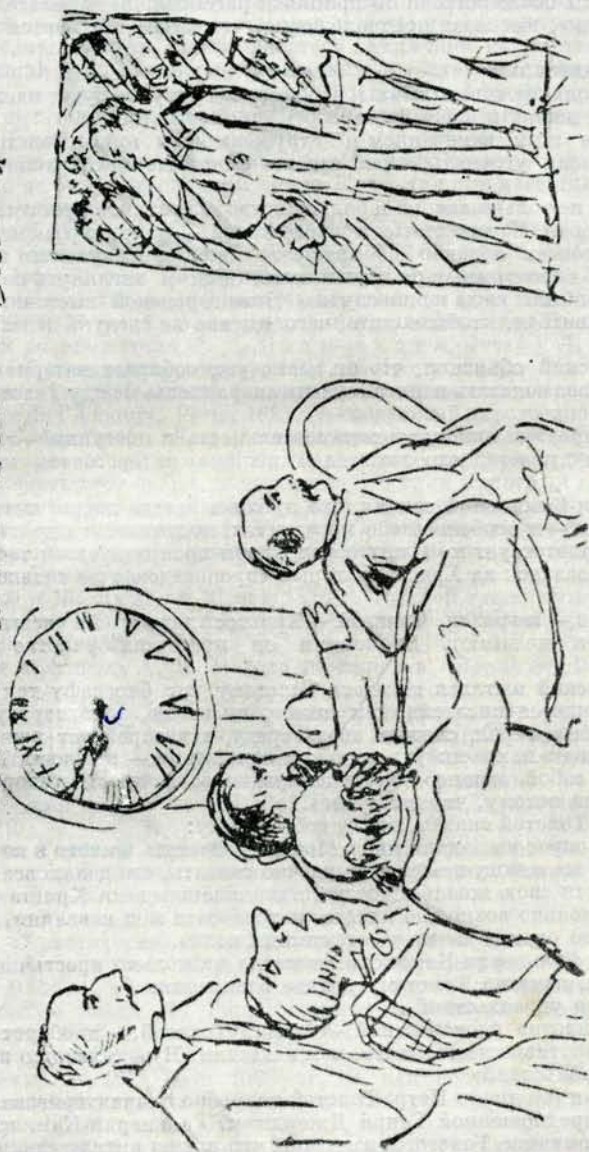
Обстоятельства, при которых я распростился с моим гостеприимным хозяином, не лишены многозначительности. Прежде всего следует отметить, что последнее свидание он мне назначил по телефону. Толстой, следовательно, не пренебрег возможностью использовать этот канал ненавистной ему цивилизации, и отправился для этого в контору соседней фабрики <...> Он должен был уехать в Рязанскую губернию к больному другу, я же возвращался в Санкт-Петербург, и мы условились встретиться на вокзале. Я до последней минуты откладывал вопрос, который собирался ему задать. Сердечность оказанного мне приема и готовность отвечать на мои вопросы придали мне смелости. Давно уже собирая документы для своего будущего очерка о мучительной эволюции этой исключительной натуры, я попросил у Толстого разрешения просмотреть его неизданную переписку с двумя-тремя задушевными друзьями, имена которых он мне сам назвал. Я уже объяснил причины, по которым Толстой не любит, чтобы о нем говорили. Он добавил, что если мой замысел и представляет какой-либо интерес, то, во всяком случае, он должен быть осуществлен лишь после его смерти. Мои аргументы, а быть может моя настойчивость, заставили его сдаться. Вот главная черта его характера: опасение огорчить кого-нибудь из окружающих заставляет его часто соглашаться на то, в чем ему хотелось бы отказать. Это — исключительная доброта, которую он считает слабостью <...>

Мы прогуливались по платформе в ожидании скорого отбытия поезда. Я завязал разговор о психологическом значении интимных писем, чтобы подойти к последнему своему вопросу. Наконец, когда дальнейшее промедление сделалось уже невозможным, я решился:

«Лев Николаевич, то, о чем я вас спрошу, важно, в сущности, не для меня лично: я видел, слышал и знаю, что мне следует думать; но не будет ли полезно дать прямой ответ на вопрос, который вам ставят: живете ли вы сами в соответствии с правилами, которые вы рекомендуете другим?»

Не успев я закончить, как раздался резкий свисток; оборачиваясь и вижу издалека отчаянные жесты друзей Толстого, затем поезд трогается и начинает приближаться к нам. Мой спутник продолжает спокойно идти с низко опущенной

Me voici Messieurs! b'goodit...!



Dessin par TOLSTOI pour *Le Tour du Monde en 80 jours*.
La légende, écrite par Tolstoi, est la même de l'illustration de Benett, à la page 216 du roman.

РИСУНОК-ТОЛСТОГО К РОМАНУ ЖЮЛЯ ВЕРНА «ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА» В 80 ДНЕЙ.
Из книги: А. Марсси. Les Illustrations des Voyages Extraordinaires de Jules Verne. Bordeaux, 1956

головой; погруженный в размышления, казалось, он ничего не слышал, кроме моего вопроса.

«Поезд уходит!» — закричал я.

Тут подбежали его друзья. У нас едва хватило времени втащить Толстого на площадку одного из последних вагонов. Толстой снова оборачивается ко мне с дружеским прощальным жестом. Никогда мне не забыть этой последней минуты...»

Свое намерение посетить Толстого в Ясной Поляне Гальперин-Каминский осуществил только в 1896 г.

В первые же минуты после встречи он принялся расспрашивать писателя о ходе работы над «Воскресением», высказав предположение, что книга эта явится кладом для биографа.

Толстой резко заметил:

«Взгляды наши столь противоположны, что вам очень трудно будет написать и подлинную историю моей жизни и верный очерк о моем творчестве».

Задетый за живое этим замечанием и недружелюбным тоном Толстого, Гальперин-Каминский попросил уточнить, в чем именно заключается разница в их образе мыслей.

«О, я имею в виду не только вас, но и большинство из тех, кто приезжал повидаться со мною и опубликовал обо мне статьи и целые книги, — например, немецкого писателя Лёвенфельда и совсем недавно побывавшего здесь французского журналиста, который приехал на коронацию царя и счел своим долгом взглянуть по дороге и на меня. А вы разве прибыли сюда не по случаю Нижегородской выставки? Вам следовало бы туда отправиться, чтобы понять, чего именно не следует делать...» — сказал Толстой.

Гальперин-Каминский объяснил, что он давно уже собирает материалы для биографии Толстого и привез показать написанную им «параллель» между Толстым и Дюма-сыном.

«Значит, и вы собираетесь описывать мою деятельность и поступки? — спросил Толстой. — Но почему вы думаете, что читателей должна интересовать моя частная жизнь?»

В ответ Гальперин-Каминский заявил, что публика всегда жадно читает подробности о великих людях — в особенности о моралистах, политических деятелях и т. п., ибо хочет узнать, соответствует ли у них образ жизни проповедуемым теориям. В качестве аргумента он сослался на Христа, который «проповедовал не только словом, но и примером».

«Это не доказано, — возразил Толстой. — Христос далеко не всегда вел воздержную жизнь, как полагают. Временами он принимал участие и в пиршествах».

Гальперин-Каминский пытался доказать Толстому, что биографу так же необходимо знать все касающееся писателя, как самому писателю, характеризующему душевное состояние своего героя, следует знать среду, в которой тот живет.

«Но когда я описываю какое-нибудь лицо или положение, — возразил Толстой, — я вовсе не ставлю перед собой заранее определенную цель. Я просто говорю о том, что вижу, и говорю именно потому, что вижу это».

Несколько позже Толстой сказал своему собеседнику:

«Помните, какой вопрос вы задали мне в Москве? Ответить на него я не успел из-за отхода поезда. Теперь же я могу вам чистосердечно сказать, что делаю все от меня зависящее, чтобы привести свою жизнь в соответствие с заповедями Христа — как я их понимаю. Живу я насколько возможно просто, потребности мои невелики, и если я не достигаю желаемого, то отнюдь не из-за отсутствия воли».

Вместе с Толстым Гальперин-Каминский посетил несколько крестьянских домов. По дороге он закурил, заметив Толстому в виде извинения:

«В жизни так мало удовольствий...»

«Но я совсем не против удовольствий, — сказал Толстой, — наоборот, я считаю, что нет ничего более противостественного, чем аскетизм. Я рекомендую воздержание лишь от вредных удовольствий».

Одному из крестьян (по имени Петр) Толстой подробно охарактеризовал принципы земельной реформы, предложенной Генри Джорджем. Гальперин-Каминский, зафиксировавший это высказывание Толстого, замечает, что нашел впоследствии в «Воскресении» всю эту сцену — там, где Нехлюдов развивает теорию Генри Джорджа перед своими крестьянами.

На обратном пути Толстой продолжал горячо говорить об огромной пользе, которую принесло бы России проведение земельной реформы в духе Генри Джорджа.

«Как ни огромна эта реформа, какой утопичной и революционной ни кажется она ограниченным и боязливым людям, проведение ее теперь в жизнь, во всяком случае, гораздо легче и проще, чем освобождение крепостных в 1861 году. Стоит только захотеть. Разве об этой крупной реформе лет пятьдесят тому назад не думали как о чем-то неосуществимом, крайне опасном, революционном? А теперь мы не можем понять, как такое бесчеловечное установление могло продержаться столько времени. И если бы реформа, предложенная Генри Джорджем, была проведена, наши потомки через пять-

десять лет спрашивали бы себя с таким же удивлением: как это люди, больше всех работавшие, меньше всех зарабатывавшие, были тяжелее всех обременены налогами и всю жизнь мучились для выгоды туеядцев. О, если бы молодой царь открыл свое царствование этим великим деянием! Он завоевал бы себе такую славу, о какой никто из его предшественников, никто из земных властителей никогда не смел и мечтать! Каким ничтожным показалось бы тогда освобождение крепостных его дедом, Александром II, в сравнении с этой реформой, в тысячу раз более глубокой, хотя она имела бы столь же мирный, столь же рациональный характер».

И он добавил:

«Я собираюсь написать царю и откровенно изложить ему свою мысль. Впрочем, в этом нет особой смелости. Царь — человек и потому ему доступны все человеческие чувства. Я же слишком стар, чтобы опасаться каких-либо неприятных последствий».

На следующий день Гальперин-Каминский прочитал вслух свою не совсем законченную статью, в которой он сравнивал Толстого с Александром Дюма-сыном, отмечая в обоих писателях много общих черт (с этой статьей он успел ознакомить и покойного А. Дюма).

«Уже давно я почувствовал в Дюма родственную душу, — заметил при этом Толстой. — и хотя я не был с ним знаком лично, я испытал при известии о его смерти такое чувство, словно потерял друга».

¹⁰ Вероятно, роман Н. Д. Зайончковской-Хвошинской «Большая Медведица», печатавшийся в «Вестнике Европы», 1870, № 3—4, 7—9 и 1871, № 4—6 и 11 под псевдонимом В. Крестовский, или же цикл повестей Л. И. Веселитской-Микулич «Мимочка-невеста», «Мимочка на водах» и «Мимочка отравилась» («Вестник Европы», 1883, № 9; 1891, № 2 и 3 и 1893, № 9 и 10), о которых с восторгом отзывался Толстой (см., например, т. 66, стр. 275 и воспоминания Ф. Д. Багрякова. Вечер у Л. Н. Толстого (почти стенограмма). — «Русская литература», 1963, № 4, стр. 219).

¹¹ В яснополянской библиотеке сохранился экземпляр книги Ж. Дюма «Tolstoy et la Philosophie de l'Amour», Paris, 1893, со следующей дарственной надписью автора: «A Monsieur le Comte Tolstoy. Respectueux hommage. G. D u m a s» («Господину графу Толстому. С уважением. Ж. Д ю м а»). Книга издана со следующим посвящением: «Прежде чем опубликовать этот очерк, хочу выполнить один приятный долг: поблагодарить графа Толстого за благожелательность, с которой он растолковал мне отдельные пункты своей философии, и мадемуазель Татьяну Толстую — за уточнения времени написания ряда трудов ее отца. С двойным уважением Жорж Д ю м а. 6 апреля 1893 г.» (перевод с французского).

¹² В письме к Ж. Дюма от 20 мая 1893 г. Толстой также отметил «верность суждений» и «изящество и ясность изложения» в книге «Tolstoï et la Philosophie de l'Amour» (т. 66, стр. 332).

¹³ Перевод «Бегледа» А. П. Чехова появился в «Revue des Deux Mondes», 1893, 1.VII.

¹⁴ Толстой в это время переводил вместе со своей дочерью Марией Львовной «Дневник» швейцарского философа-идеалиста А. Ф. Амизеля (1821—1881). В предисловии к русской публикации «Дневника» он указал: «Все, что Амизель отливал в готовую форму: лекции, трактаты, стихотворения, было мертво; дневник же его, где, не думая о форме, он говорил только сам с собой, полон жизни, мудрости, поучительности...» (т. 29, стр. 210).

¹⁵ О чтении Толстым «прелестной», «прекрасно написанной» книги П. Сабатье «Vie de St. François d'Assise», которая, по его указанию, была в 1895 г. издана «Посредником», см. т. 52, стр. 105 и т. 87, стр. 243.

¹⁶ Ср. главу IV части 3-й «Войны и мира».

¹⁷ Статья «Христианство и патриотизм», о которой см. на стр. 535—536 кн. 1-й настоящ. тома. Легра в 1894 г. перевел ее на французский язык и опубликовал сначала в «Journal des Débats», а затем, в том же году, отдельным изданием.

¹⁸ Речь идет о казни Ф. Ришё, свидетелем которой Толстой был в Париже 6 апреля/25 марта 1857 г. (см. т. 60, стр. 167—168).

¹⁹ Корреспонденция В. Лялина, озаглавленная «Из Москвы», в № 7262 «Нового времени» от 18/30 мая 1896 г. В ней подробно излагалась беседа с издателем японской газеты «Нитинити симбун» о русско-японских отношениях.

²⁰ Имени этой дамы установить не удалось. В Провансе Толстой был в ноябре 1860 г. В конце своей книги «Au Pays Russe» Легра приводит следующие слова Толстого: «Что бы вы, французы, ни делали, католическая форма господствует над вами: вы либо за, либо против, но никогда не остаетесь в стороне».

²¹ Предок Толстого граф Петр Андреевич Толстой был сослан вместе со своим сыном Иваном Петровичем в Соловецкий монастырь не Петром I, а Екатериной I, в 1727 г. Оба умерли в ссылке (в 1728 и 1729 гг.). — См. Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого, т. I. М., 1958, стр. 12.

²² Пермский купец-старообрядец, сектант Адриан *Пушкин* был заточен в Соловецкий монастырь в 1866 г. (см. А. С. П р у г а в и н. Монастырские тюрьмы в борьбе с сектантством. СПб., 1906, стр. 69). Ни в библиотеке Толстого, ни в его архиве не сохранились сочинения, присылавшиеся ему из Женевы учеником Пушкина — Корфом.

²³ *«Швейцарский Робинзон»* (1819) — повесть Рудольфа Висса.

²⁴ Речь идет о Сергее Николаевиче Толстом (1826—1904).

²⁵ Вероятно, Толстой имел в виду основную мысль стихотворения Пушкина «Эхо».

²⁶ Из стихотворения В. Гюго «Ce siècle avait deux ans» («Два года было нынешнему веку»):

Mon âme aux mille voix, que le Dieu que j'adore
Mit au centre de tout comme un écho sonore...

(Моя многоголосая душа, которую горячо любимый бог поместил в центре всего сущего, словно звучное эхо).

²⁷ В яснополянской библиотеке, помимо романа «Lettres de Femmes» («Женские письма»). Paris, 1890, сохранилось еще несколько книг М. Прево. Некоторые из них с дарственными надписями. На «Jardin secret» («Потаенный сад»). Paris, 1897: «A Léon Tolstoï, hommage de l'auteur. Marcel P r é v o s t» («Льву Толстому от автора. Марсель П р е в о»); на «Vierges Folles» («Безумные девственницы»). Paris, s. d.: «A Léon Tolstoï, hommage respectueux. Marcel P r é v o s t» («Льву Толстому с почтением. Марсель П р е в о»); на «Vierges Fortes. Frédérique» («Сильные девственницы. Фредерика»). Paris, s. d.: «A Léon Tolstoï hommage respectueux. Marcel P r é v o s t» («Льву Толстому с почтением. Марсель П р е в о»); на «Vierges Fortes. Léa» («Сильные девственницы. Леа»). Paris, s. d.: «A Léon Tolstoï, hommage de haute admiration. Marcel P r é v o s t» («Льву Толстому с глубоким восхищением. Марсель П р е в о»).

1 февраля 1897 г., посылая свой роман «Le Jardin Secret», Прево писал Толстому: «Прошу вас оказать мне большую честь, прочитав его. Не может ли этот роман возратить вашу благосклонность писателю, которого вы (в беседе с г. Анри Лапозом) осудили столь сурово, и против этой суровости он считает себя вправе апеллировать к вам же самому. Не откажите принять, м<илостивый> г<осударь>, выражение чувства высочайшего восхищения. Марсель П р е в о».

На конверте помета Толстого: «Благодарить за присылку. [Очень сожалеет, что Лараузе] Прочитал с большим [удовольствием] интересом» («Лит. наследство», т. 31-32, 1937, стр. 1020).

Отметим следующее высказывание, присланное Прево еще при жизни Толстого для «Международного толстовского альманаха»: «Толстой для французов моего поколения был не только чудесным рассказчиком, творцом пейзажей, эпох и людей, — он был также создателем нового чувствования. Ни одно почти произведение современных французских романистов и драматургов не было бы именно тем, что оно есть, если бы не было Толстого. Этот великий русский писатель — громадный факт в французской литературе, как Расин и Шатобриан. Марсель П р е в о. Париж. 9/22 марта 1908 г.» («Международный толстовский альманах. „О Толстом“». М., 1909, стр. 271).

²⁸ В яснополянской библиотеке сохранились следующие книги Ж. Экара с дарственными надписями: «Fleur d'Abîme» («Цветок из бездны»). Paris, 1894: «Au grand Tolstoï. Hommage d'une âme française. Paris, 24 mai 1894» («Великому Толстому. От одной французской души. Париж, 24 мая 1894 г.»); «Notre-Dame-d'Amour» («Богоматерь любви»), Paris, s. d.: «A Léon Tolstoï un admirateur. J. A i c a r d» («Льву Толстому — его поклонник Ж. Э к а р»); «Diamant Noir» («Черный алмаз»). Paris, 1895: «Au Maître Tolstoï Jean A i c a r d» («Учителю Толстому Жан Э к а р») и «Le Père Lebonnard» («Папаша Лебонард»), Paris, s. d.: «A Léon Tolstoï en communion humaine très respectueux hommage. Jean A i c a r d. Lagarde près Toulon. 26 nov<embre> 1904» («Льву Толстому в залог человеческой общности, почтительнейшее свидетельство от Жана Э к а р а. Лагард близ Тулона. 26 нояб<ря> 1904 г.»).

²⁹ По-видимому, Лера не точно излагает высказывание Толстого о романе Э. Рода «La Vie de Michel Tessier» («Жизнь Мишеля Тессе»). Толстой писал жене 28 января 1894 г. по поводу этой книги: «Как бездарно! Как все выдуманно» (т. 84, стр. 207). Отметим, что в яснополянской библиотеке хранятся две книги Рода: «Les Trois Sœurs» («Три сердца»). Paris, 1890, и «L'Eau Courante» («Поток»), Paris, 1902, с дарственными надписями автора. На первой: «A Monsieur le comte Tolstoï hommage de respectueuse admiration. Edouard R o d» («Господину графу Толстому — дань почтительного восхищения. Эдуард Р о д») и на второй: «A Léon Tolstoï. En hommage de respectueuse admiration. Edouard R o d» («Льву Толстому с почтительным восхищением. Эдуард Р о д»). Книге «предестного Rod» «Le Sens de la Vie» («Смысл жизни») Толстой дал в дневнике чрезвычайно высокую оценку, указав, что там «страницы о войне и государ-

«ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО?» ФРАНЦУЗСКОЕ
ИЗДАНИЕ (ПАРИЖ, 1898)
Титульный лист



стве поразительные», «о войне, о дилетантизме удивительные» (10—11 февраля 1889 г. — т. 50, стр. 35).

³⁰ Статья «Христианство и патриотизм» была переведена на английский язык В. Г. Чертковым и впервые напечатана в газете «Daily Chronicle» в июне 1894 г. (см. т. 39, стр. 232). Здесь речь идет, несомненно, о другом переводе.

³¹ Вероятно, имеется в виду «Христианское учение» («Катехизис»), т. 39, стр. 117—191.

³² Цитируемое здесь выражение восходит к Б. Паскалю (см. «Lettres Provinciales» («Провинциальные письма»), письмо 16). Толстой имеет в виду следующее выражение о письмах, употребленное де Местром в дипломатической реляции от 5/17 августа 1812 г.: «Один из остроумных людей сказал: „У меня нет времени делать их короче“, я же могу добавить: „У меня нет времени делать их лучше“» («Correspondance diplomatique de Joseph de Maistre», 1811—1817, vol. I. Paris, 1861, p. 156).

³³ Имеется в виду губернёр Толстого П. Сен-Тома. 1 декабря 1895 г. Легра сообщил Толстому из Бордо, что его попытка разузнать в Гренобле, по просьбе Толстого, о судьбе старика Сен-Тома не увенчалась успехом (АТ).

³⁴ Толстой и И. С. Тургенев пробыли в Дижоне с 25 февраля (9 марта) по 2/14 марта 1857 г. Работал там Толстой над «Альбертом», («Пропавший»).

³⁵ Речь идет о «Снегурочке» А. Н. Островского. 12 января 1907 г. Толстой сказал Д. П. Маковицкому об Островском: «Я говорил ему про „Снегурочку“. Он сказал, что и у Шекспира есть рядом с серьезными сказочные» (цит. по кн.: Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого, т. II. М., 1960, стр. 576).

³⁶ В послесловии к пьесе «Чаттертон», озаглавленном «О представлениях этой драмы», Альфред де Виньи указал, что благодаря драматической форме и отличной игре актеров самые нетерпеливые люди против воли выслушивали его длиннейшие философские и лирические рассуждения (Œuvres du comte Alfred de Vigny. Chatterton. Bruxelles, 1835, p. 160—161).

³⁷ Речь идет о поездке Толстого с С. П. Арбузовым в Оптину пустынь в июне 1881 г. (см. «Гр. Л. Н. Толстой. Воспоминания С. П. Арбузова, бывшего слуги графа Л. Н. Толстого». М., 1904, стр. 90—98).

³⁸ О посещении Легра в дневнике Толстого сохранилась следующая запись

от 4/16 октября 1894 г.: «Вчера вечер сидел с Legras. То же и днем» (т. 52, стр. 145).

³⁹ В яснополянской библиотеке сохранился экземпляр «Revue Blanche» от 15.V.1896. Здесь же находится роман Адама «La Force» («Сила»). Paris, 1899, со следующей дарственной надписью: «A Léon Tolstoï hommage de dévotion. Paul A d a m» («Льву Толстому с благоговением. Поль А д а м»).

⁴⁰ В яснополянской библиотеке сохранились следующие книги Ж. Рони с дарственными надписями Толстому: «Nell Horn de l'Armée du Salut» («Нель Горн из Армии Спасения»). Paris, 1886: «Au Maître, au Comte L. Tolstoï en profonde admiration. J. H. R o s n y» («Мэтру, графу Л. Толстому, в знак глубокого восхищения. Ж. Р о н и»), «Le Bilatéral» («Двусторонний»). Paris, 1887: «Au Maître, au comte Léon Tolstoï. Hommage de profonde admiration» («Мэтру, графу Льву Толстому, с глубоким восхищением» Ж. А. Р о н и); «L'Immolation» («Уничтожение»). Paris, 1887: «En souvenir de la douce et familiale hospitalité de Ясная Поляна. Paris, l' novembre 1895. J. R.» («На память о милом и семейном гостеприимстве в Ясной Поляне. Париж, 1 нояб<ря> 1895 г. Ж. Р.»). Последней надписью устанавливается факт посещения Рони Толстого.

⁴¹ См. выше примеч. 28.

⁴² В дневнике Толстой назвал «Полудев» М. Прево «глупой, гадкой», «мерзкой» книгой (т. 52, стр. 126—127). См. выше примеч. 27.

⁴³ Роман М. Прево «Confession d'un Amant» («Исповедь любовника»). Paris, 1891, посвященный А. Дюма-сыну, предварен был письмом А. Дюма-сына от 13 мая 1891 г., в котором он охарактеризовал книгу Прево как один из первых симптомов «спасительного обращения» молодой французской литературы к вопросам морали и самосовершенствования.

⁴⁴ Речь идет о стихотворении Ш. Бодлера «Падалъ» («La Charnegne»).

⁴⁵ Имеется в виду статья Ж. Клемансо «О патриотизме», напечатанная в парижской газете «Journal» 1 мая 1896 г.; в ней он полемизировал с Толстым в связи с появлением французского перевода «Христианского духа и патриотизма» и двух статей в «Revue Blanche» от 15 апреля и 1 мая 1896 г.: «Толстой не желает согласиться с тем, что существует хороший и дурной патриотизм <...> Странная ошибка Толстого заключается в том, что он думает, будто любовь к своей родине непременно вызывает ненависть к родине других народов<...> Вместо того, чтоб упорствовать в попытках уничтожить эпизод,— заключал Клемансо,— подымите его лучше до тех высших сфер, где он сливается с альтруизмом, возвысьте его до гордости всеобщей самоотверженностью. Сумейте сделать из него, при помощи все возрастающей справедливости, великодушную поддержку увеличивающейся гуманности».

⁴⁶ Жена Л. Л. Толстого, Дора Федоровна (рожд. Вестерlund).

⁴⁷ Рассказ П. Е. Накрохина «Вор» был впервые опубликован в «Книжках „Неделя“, 1890, декабрь. В 1892 г. он был переиздан «Посредником» под названием «Часы». Толстой находил этот рассказ «превосходным». «И художественно прекрасно и трогательно»,— писал он о «Воре» (т. 87, стр. 68).

⁴⁸ Речь идет о рассказе В. Г. Короленко «В ночь под светлый праздник», впервые опубликованном в «Волжском вестнике», 1885, № 70 от 30 марта и затем вошедшем в «Очерки и рассказы». Короленко писал в этом рассказе: «Луна уже поднялась над далекою чертой горизонта, но из города ее не было видно<...> Четыре башни по углам врезались острыми вершинами в золотистое море лунного света, постепенно заливавшее небо<...> На западной стороне белая стена сверкала от ударявших в нее лунных лучей» и т. д. (см. Владимир К о р о л е н к о. Очерки и рассказы. М., 1887, стр. 177—179). 2 июля 1894 г. В. Ф. Лазурский отметил в своем дневнике, что Толстой, смеясь над этим описанием Короленко, сказал: «Когда я открою такую штуку у писателя, я закрываю книгу и больше не хочу читать» («Лит. наследство», т. 37-38, 1939, стр. 457). Ср. в дневнике А. Б. Гольденвейзера слова Толстого, сказанные 25 июля 1902 г.: «Часто у хороших писателей встречаются непростительные небрежности<...> У Короленко <...>, когда ударили к светлой заутрене, было светло от месяца, а Пасха не может быть в полнолуние» (А. Б. Г о л ь д е н в е й з е р. Вблизи Толстого. М., 1959, стр. 113). Несмотря на то, что Короленко, по словам Роша, находил какие-то «оправдания» для лунного света в пасхальную ночь, в позднейших изданиях этого рассказа он вычеркнул все упоминания о луне, вписав вместо них только одно: «Луна не поднималась». Насколько можно судить по публикуемым воспоминаниям, это было сделано после того как Рош сообщил Короленко это замечание Толстого.

⁴⁹ Об отношении Толстого к О. Мирбо см. ниже, в воспоминаниях Ж. Б у р д о п а. См. также воспоминания П. Б у а й е в «Яснополянских записках», Тула, 1960, стр. 212.

⁵⁰ О своем увлечении романами Поля де Кока, наряду с книгами А. Дюма-отца и Эжена Сю, Толстой упомянул в «Юности» (т. 2, стр. 171). Это высказывание Рош и имеет в виду.

⁵¹ Об этой книжке доктора Шкарвана см. выше, на стр. 122 настоящ. книги.

⁵² О каком романе идет речь, не установлено, так как упоминаемое интервью выявить не удалось.

⁵³ Это изречение и его источник остаются нам неизвестными.

⁵⁴ «Банкротство науки» — известное выражение, употребленное Ш. Брюнетьером в статье «После посещения Ватикана» («Revue des Deux Mondes» от 1.1 1895). Брюнетьер следующим образом резюмировал мысль, легшую в основу его статьи: «Наука потеряла свой престиж, а религия отвоевала часть ее престижа» (р. 105).

⁵⁵ «Умирающая земля» («La Terre qui Meurt») — роман Р. Базена, который Толстой в предисловии к книге В. фон Поленца «Крестьянин» назвал «очень недурным» (т. 34, стр. 272).

⁵⁶ См. примеч. 29.

⁵⁷ Речь идет о романе П. и В. Маргеритов «Le Désastre» («Бедствие»). Paris, 1897, экземпляр которого сохранился в яснополянской библиотеке со следующей дарственной надписью на шмуцтитуле: «A Mr Léon Tolstoï, respectueux hommage de ses admirateurs. Paul et Victor Margueritte» («Г-ну Льву Толстому, с благодарением от его почитателей. Поль и Виктор Маргериты»). В романе «Бедствие» значительное место занимает описание франко-прусской войны 1870 г.

⁵⁸ Реакционный роман П. Бурже «L'Étare» («Этап»). Paris, 1901, изображающий, между прочим, в карикатурном виде французский народный университет — «Толстовский союз». Сам Толстой охарактеризован в романе как «учитель анархии». Роман этот печатался тогда в «Revue des Deux Mondes».

⁵⁹ В подстрочном примечании Бензон указала, что имеет в виду «Carnet du Soldat» в переводе Ж. В. Бинштока.

⁶⁰ Намерение Толстого написать продолжение «Воскресенья», как известно, осталось неосуществленным.

⁶¹ Портрет Толстого работы И. Е. Репина (1901) находится в Государственном Русском музее.

С. А. Толстая записала в дневнике 30 марта 1901 г.: «Вчера<...> приятно провели вечер с Репиным. Он рассказывал, что в Петербурге на передвижной выставке, на которой он выставил портрет Льва Николаевича (купленный Музеем Александра III), были две демонстрации: в первый раз небольшая группа людей положила цветы к портрету; в прошлое же воскресенье, 25 марта 1901 г., собралась в большом зале выставки толпа народу. Студент стал на стул и утыкал букетами всю раму, окружающую портрет Льва Николаевича. Потом стал говорить хвалебную речь, затем поднялись крики: „ура“, с хор посыпался дождь цветов; а следствием всего этого то, что портрет с выставки сняли, и в Москве он не будет, а тем более в провинции. Очень жаль!» (С. А. Толстая. Дневник. 1897—1909. М., 1932, стр. 149).

⁶² О посещении 16 июля 1886 г. П. Дерулемом Ясной Поляны см. в нашем сообщении на стр. 535—541 кн. 1-й настоящ. тома.

⁶³ Речь идет об открытом письме Толстого «Царю и его помощникам» от 15 марта 1901 г. (т. 34, стр. 239—244). Поводом для этого письма отчасти послужило избитие демонстрантов на Казанской площади в Петербурге 1 марта 1901 г.

⁶⁴ Кому была адресована эта телеграмма — не установлено. В собрание сочинений Толстого она не вошла.

⁶⁵ Книга сохранилась в яснополянской библиотеке. Небольшую цитату из нее привел в русском переводе П. И. Бирюков (см. П. И. Бирюков. Биография Льва Николаевича Толстого, т. 4. М.—Пг., 1923, стр. 93).

⁶⁶ О своем предстоящем приезде в Ясную Поляну Бурдон известил Толстого в ответном письме от 22/9 января 1905 г. 28/15 марта он сообщил, что обстоятельства помешали ему снова побывать у Толстого. В архиве писателя находится еще одно письмо к нему Бурдона, от 4 августа/22 июля 1905 г. с упоминанием о посылке ему новой книги Бурдона «La Russie Libre» («Свободная Россия»). Paris, 1905.

⁶⁷ Бурдон в своей книге представил С. А. Толстому и ее отношения с мужем (с ее слов) в крайне идеализированном виде. Толстой иронически назвал поэтому Бурдона в письме к жене от 16 января 1905 г. ее «хвалителем» (т. 84, стр. 370—371). Как отмечает Д. П. Маковицкий, С. А. Толстая находила, что Бурдон «очень хорошо записал интервью» (см. «Лев Толстой. Материалы и публикации». Тула, 1958, стр. 195).

⁶⁸ 13 февраля 1904 г., накануне открытия конгресса французской социалистической партии в Сент-Этьене, Ж. Жорес выступил с большой речью по поводу начавшейся русско-японской войны; он предостерегал Францию от вступления в эту войну на стороне России (см. полный текст речи в кн.: «Œuvres de Jean Jaurès. Pour la Paix», vol. II. Paris, 1931, p. 63—75).

⁶⁹ Франсис Прессанс (1853—1914)—видный французский политический деятель, выступал в защиту Дрейфуса и за отделение школы от церкви и государства.

⁷⁰ Толстой посылал в это время статьи в «Свободное слово», издававшееся в Лондоне В. Г. Чертковым.

⁷¹ Статья «Одумайтесь!» (т. 36, стр. 100—148), впервые напечатанная в издании «Свободного слова» в 1904 г.

⁷² Отметим следующее высказывание Толстого о колониальной политике Англии в Южной Африке. Петербургскому корреспонденту «Daily Chronicle» он заметил: «Вы не

имеете права уничтожать туземцев и грабить их!» И на возражение корреспондента, заявившего, что аборигены не позволяют эмигрантам селиться на их землях, Толстой сказал: «Поступайте как мой соотечественник Миклухо-Маклай. Он не убивал туземцев и не отнимал у них их собственность, а жил в мире с ними и даже убеждал их воздерживаться от взаимных распрей. Я надеюсь, что вы не обидитесь за мою откровенность,—добавил он,—но вы, англичане, обладаете одним недостатком, наряду со многими благородными достоинствами,— и этот недостаток: ужасная наклонность к лицемерию. Как это удается в вашей стране людям примирить между собой завоевания, убийства, грабежи и кражи с христианской религией — я не могу понять. Те, кто так действует,— могут быть христианами в духе церкви, но они тем не менее остаются преступниками. Существуют преступники двух видов,— добавил Толстой,— те, кто нарушает законы, и те, кто действует как преступники под покровительством закона. Служащие привилегированной компании принадлежат к последней категории» (вырезка, относящаяся к 1892 г., хранится в АТ.—Дата не установлена).

⁷³ 19 февраля 1904 г. в парижской «Темпре» появилось большое открытое письмо к Толстому акад. Ж. Кларти, писавшего, между прочим, по поводу русско-японской войны: «Вполне естественно, что мы именно у вас спрашиваем, что думаете вы, дух которого возвышается над другими, что думаете вы о совершающихся событиях, которые, к сожалению, теперь владеют людьми и опрокидывают все их стремления». > Вы видите, дорогой и великий учитель, человек есть игрушка событий. Монарх искренно хочет мира, а его заставляют вести войну. Народ стремится к покою — его будят пушечные выстрелы. Великое слово „разоружение“ брошено в мир, а вооруженные флоты пробегают океаны, и границы щетинятся штыками. Пророк добра, вы поучаете людей жалости, а они отвечают вам, заряжая ружья и открывая огонь! Не смущает ли это вас, несмотря на твердость ваших убеждений, и не разочаровались ли вы в человеке-звере? Вот это-то я и хотел бы услышать от вас, дорогой и великий учитель» (цит. по кн.: П. И. Б р ю к о в. Биография Льва Николаевича Толстого, т. IV. М., 1922, стр. 92. Ср. Georges B o u r d o n. En écoutant Tolstoï. Paris, 1904, p. 122—123, где также приведена большая выдержка из обращения Кларти). На это обращение счел нужным ответить Л. Л. Толстой, поместивший в «Новостях» от 28 февраля ст. ст. 1904 г. обширный «Ответ Жюлю Кларети». Отмечая, что он с интересом прочел, находясь в Египте, письмо, обращенное к его отцу, Лев Львович заявлял: «Может быть, отец мой сам ответит вам на брошенный ему вами вызов, может быть, постоянно и усиленно занятый за последние годы своими писаниями, он этого не сделает. беру на себя смелость за него сказать вам несколько слов по поводу тех жгучих вопросов, которые встали теперь перед всем мыслящим человечеством и волнуют его более, чем когда-либо». Высказывание Л. Л. Толстого может быть сведено к следующим положениям: и Толстой, и все истинные друзья мира и враги войны продолжают верить во всеобщий мир и братство; Толстой не считает войну «неизбежным следствием людской деятельности»; если бы на месте Японии была другая страна, более близкая России по культуре и духу, то, вероятно, легче было бы уладить возникшее между ними разногласие; Толстой, несомненно, надеется, что эта война, если не последняя на земном шаре, то одна из тех войн, которые вызовут их прекращение. «Я убежден в том,— писал Лев Львович,— что отец мой глубоко огорчен тем, что человечество не достигло еще той ступени, на которой оно будет решать споры путем мирного соглашения, и должно, как в настоящую минуту, браться для этого решения за оружие».

31 марта 1904 г. Толстой писал Льву Львовичу: «Прочел вчера твой ответ Claretie и одобрил его. Разумеется, ты совершенно прав в основном вопросе, в том, что война не есть необходимое условие жизни, но уничтожение ее возможно только в восстановлении <и> потерянной в наше время соответствующей умственному развитию <и> человечества религии. Но вообще письмо написано хорошо» (т. 75, стр. 56).

⁷⁴ 18 мая 1899 г. в Гааге по предложению Николая II была созвана мирная конференция, в которой приняло участие двадцать шесть государств (Япония от участия в ней воздержалась). Задачей конференции было ограничение вооружений и обеспечение мира во всем мире. Результаты ее были весьма ничтожны, чем и объясняется скептическое отношение к ней Толстого.

⁷⁵ Известное письмо С. А. Толстой к митрополиту Антонию в связи с отлучением Толстого от церкви было опубликовано в «Церковном вестнике», 1901, № 13 и перепечатано всеми газетами в апреле 1901 г.

⁷⁶ «Мысли мудрых людей на каждый день» («Круг чтения»). — Эта работа Толстого напечатана в т. 41.

⁷⁷ См. выше примеч. 70.

⁷⁸ «О Шекспире и о драме» (т. 35, стр. 216—274).

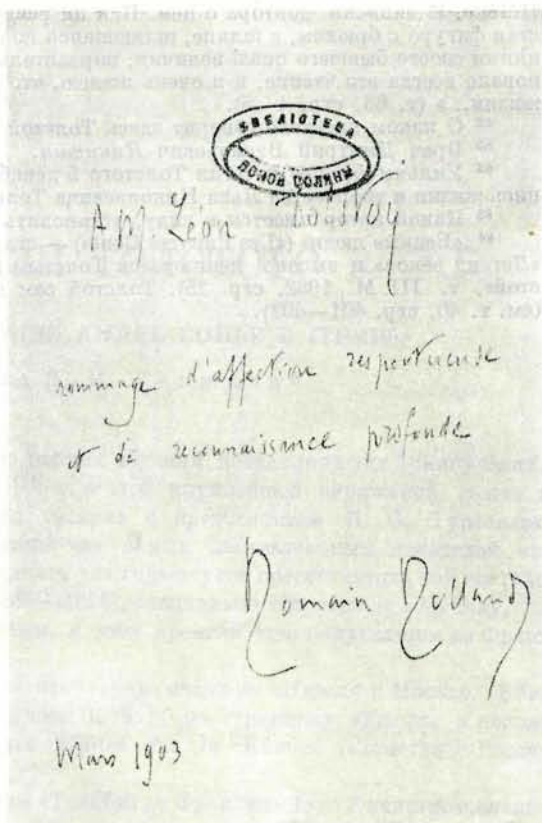
⁷⁹ В яснополянской библиотеке сохранилась пьеса Мирбо «Les Affaires sont les Affaires» («Дела — это дела»). Paris, 1903, со следующей дарственной надписью на шмуцтитуле: «A Léon Tolstoï, à la grande âme de qui je dois d'être le peu que je suis. Octave M i r b e a u» («Льву Толстому, чьей великой душе я обязан тем немногим, что собой представляю. Октав М и р б о»). Кроме этой пьесы, здесь же находятся еще две книги Мирбо, при-

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ
РОМЕНА РОЛЛАНА НА КНИГЕ
«ВРЕМЯ ПРИДЕТ»

(«Le Temps viendra». Paris, 1903):

«Льву Толстому в знак почтительной
любви и глубокой признательности.
Ромен Роллан.
Март 1903 г.»

Личная библиотека Толстого.
Музей-усадьба «Ясная Поляна»



сланные Толстому с дарственными надписями: «L'Abbé Jules» («Аббат Жюль»). Paris, 1888, с надписью на титуле: «Au comte Léon Tolstoï hommage de mon admiration profonde. Octave Mirbeau» («Графу Льву Толстому с глубоким восхищением. Октав Мирбо») и «Farces et Moralités» («Фарсы и моралиты»). Paris, 1904 с надписью: «A Léon Tolstoï avec toute ma vénération. Octave Mirbeau» («Льву Толстому с полнейшим благоговением. Октав Мирбо»). Русский перевод пьесы Мирбо «Les Affaires sont les Affaires», вышедший в Петербурге в 1903 г. под названием «Власть денег», открывался посвящением Толстому, в котором Мирбо писал: «Вы были моим истинным учителем несравненно более, нежели кто-либо из французских писателей... Вы и Достоевский. Я помню, что величественные произведения „Война и мир“, „Анна Каренина“, „Смерть Ивана Ильича“, „Преступление и наказание“, „Идиот“ и столько других, которыми я так восхищался, явились для меня как бы откровением доселе неведомого искусства, и никогда раньше я не ощущал столь потрясающего впечатления новой и властной красоты. Некоторые надменные писатели моей родины — из них иные будут забыты, иные уже забыты — заявили, что вы многим обязаны Франции. Они желали видеть в вас наследника Французской революции и Стендаля. А я говорю, что Франция сама вам многим обязана, ибо вы сообщили новую жизнь ее вековому духу, вы вновь потрясли его и как бы увеличили его восприимчивость. Вы первый научили нас находить жизнь в жизни, а не в книгах, как бы прекрасны они ни были. Вы первый научили нас угадывать за внешностью человека ропот и бурю, тающиеся во тьме подсознания. Вы разрешили коллизии противоречий, непоследовательности, роковых добродетелей, искренней лжи, наивного порока, жестокости и чувствительности. Вы поняли, что человек, несчастный, смешной и отвратительный, есть, несмотря ни на что, наш брат...» Толстой отозвался на это посвящение письмом к Мирбо от 30 сентября/13 октября 1903 г. (т. 74, стр. 194).

⁸⁰ Пьеса о Наполеоне I Мирбо написана не была.

⁸¹ 15 января 1890 г. Толстой писал А. И. Эртелю: «Ничего вам не могу сказать про Наполеона. Да, я не изменил своего взгляда и даже скажу, что очень дорожу им. Светлых сторон не найдете, нельзя найти, пока не исчерпаются все темные, страшные, <оторые> представляет это лицо. Самый драгоценный материал, это Mémorial de St.

Hélène. И записки доктора о нем. Как ни раздувают они его величие, жалкая толстая фигура с брюхом, в шляпе, шляющаяся по острову и живущая только воспоминаниями своего бывшего quasi-величия, поразительно жалка и гадка. Меня страшно волновало всегда это чтение, и я очень жалею, что не пришлось коснуться этого периода жизни...» (т. 65, стр. 4—5).

⁸² О каком писателе говорит здесь Толстой — не установлено.

⁸³ Врач Дмитрий Васильевич Никитин.

⁸⁴ Уильям Брайен посетил Толстого 5 декабря 1903 г. (см. Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого, т. II. М., 1960, стр. 471).

⁸⁵ Какой автор имеется в виду, установить не удалось.

⁸⁶ «Бедные люди» («Les Pauvres Gens») — стихотворение В. Гюго, входящее в состав «Легенд веков» и высоко ценившееся Толстым (ср. «Дневник Софьи Андреевны Толстой», т. III. М., 1932, стр. 25). Толстой сам перевел его на русский язык прозой (см. т. 40, стр. 401—402).